

БИАНКИ В.В. ДЖУЛЬБАРС

(рассказ ворошиловского стрелка)

Прошлого года осенью я был в командировке в Таджикистане.

Сижу как-то в столовке, обеда жду. Вдруг вваливается компания бойцов — всё молодые офицеры. Все очень возбуждены, громко разговаривают, смеются.

Один подходит ко мне, здоровается.

Оказалось, по Ленинграду знакомый. Представил товарищей, рассказал, как мы с ним на ворошиловского стрелка сдавали.

Обедали вместе, и тут узнаю, что вся компания сейчас едет на облаву: какого-то джультбарса стрелять, который много скотины загубил в окрестных кишлаках.. Какие-то там вырыты окопчики по числу стрелков, и только в одном не хватает стрелка: кто-то из офицеров заболел. И вот они меня с собой приглашают, непременно чтобы ехал с ними, и коня дадут и винтовку. Я подумал, что джультбарс — местная какая-нибудь порода барса, зверь не такой уж страшный. Здоровая кошка — вот и всё. Да и так на меня насели — не было никакой возможности отказаться. Подвиг, знаете, всё-таки: население освободить от вредного зверя.

Отправились. Всего каких-нибудь километра два по степи от городка отъехали и остановились. Дали мне заряженную трёхлинейку и подвели к окопчику. Я спустился в него, а они дальше поехали — рассаживаться по таким же окопчикам.

Очень скоро все с глаз скрылись, и красноармейцы поспешно ускакали назад с нашими конями.

Мне сказали: зверя надо ждать примерно через час. Времени приготовиться хватит. Окопчик этот — простая яма, по грудь глубиной. Голова и плечи наружу, стрелять очень удобно. А в углу ещё дыра, узенький ход вниз, весь в него влезешь, с головой. Я подумал: «Значит, зверь всё-таки опасный. В случае чего — в эту дыру надо нырять, отсиживаться от него. И зачем это я ввязался в эту музыку? Сидел бы сейчас под крышей и никаких зверей, кроме комаров, не боялся».

Правду сказать, всякие мысли в голову лезли: «Ну, барс, джультбарс — или как его там? — конечно, не лев. А всё-таки с непривычки жутковато: зверь такой, что не только козла, а и здорового кабана берет. А кабан и сам даст на ходу клыком — у человека нога пополам». Винтовку осмотрел тщательно. В порядке вся.

Кругом огляделся. Ровная-ровная степь. Трава совсем низенькая. Только шагах в двухстах впереди — тугай. Это кустарники такие непроходимые, джунгли. Слева и справа от меня головы соседних стрелков из земли высовываются, поблескивают ружейные стволы. Да очень далеко; если зверь набросится — помощи не жди.

Время чем дальше, тем скорее летело. Я всё на часы поглядывал.

И вот ровно через час слышу выстрел далеко впереди. Это, я знал, условный знак, что цепь загонщиков двинулась.

И опять полная тишина. Только высоко в небе противным голосом какая-то хищная птица кричит, летает кругами, да часы в моем кармане тикают.

Винтовка у меня давно наготове. И смотрю я, зорко всматриваюсь в тугай. И всё мне кажется; вон-вон высунулась из кустов звериная голова, поглядела и скрылась...

Сто раз успел передумать, как этот барс выскочит из тугаев, — серый весь и чёрные круги по всей шкуре, ростом с гончую собаку, хвост до земли, — и как он себя этим длинным хвостом в ярости по бокам будет бить. Присядет на ногах, как кошка, и бросится вперёд.

Вот перед прыжком и буду стрелять. В голову. Нет, лучше в левый бок ему — в правый, значит, от меня. В сердце. А то по черепу может пуля соскользнуть.

Весь напрягся в ожидании и о времени забыл.

Потом, чувствую, устал стоять, устал вглядываться и вслушиваться. А глаза оторвать от тугаев боюсь: вдруг он тут и выскочит?

Выхватил часы из кармана, глянул: уж полтора часа прошло после выстрела. Сразу сердце отлегло: сейчас не зверь, сейчас загонщики-красноармейцы покажутся из тугаев. Пора уж им тут быть.

И уже весёлыми глазами стал на тугай смотреть: зверя уже не боялся.

...А он ползёт. Уже почти половину расстояния от тугаев до меня прополз. И как я его раньше не заметил, прямо не пойму!

Да и совсем не тот зверь, которого я ждал, — не барс.

Оранжево-красный весь, с чёрными полосами, а длиной, поверите ли, ну прямо с громадную тропическую змею, с удава!

Сознаюсь, сердце у меня так и сжалось. И весь я точно куда-то в пропасть ухнул. Он не полз, а весь как-то переливался. Брюхо к земле прижато, ног не видно, только широкие круглые лопатки над спиной тихонько шевелятся. А голова — с бычьей. И прямо-прямо на меня ползёт. Да быстро ведь, как змея!

Опомнился я, схватился за винтовку. И вот сила привычки: как почувствовал в руках знакомый предмет, прижал приклад к плечу — сразу успокоился.

Локти упёр в землю. Выделил аккуратно в левый бок. Головой-то он ко мне был, так что рядом с его щекой пришлось целиться в плечо.

Вторым суставом указательного пальца, как полагается по правилам, плотно нажал курок. И, кажется, не успел ещё замереть звук выстрела, как я оторвал приклад от плеча и щёлкнул затвором; послал вторую пулю в ствол — и опять был готов стрелять.

Я ждал страшного рёва, громадного прыжка, или что зверь разом упадёт на бок и в конвульсиях захрипит, задрывает тяжёлыми лапами. Словом, всего, чего хотите, ждал, но только не того, что случилось. Гляжу и глазам не верю: зверь хоть бы дрогнул — ползёт, как полз. Так же молча, так же быстро, так же прямо на меня.

Я — ворошиловский стрелок, почти снайпер. Я на расстоянии ста метров из пяти выстрелов не даю промаха в чуть видимое чёрное яблочко мишени. Как я мог промазать?

Одной секунды не было на размышление. От верности прицела и быстроты выстрела зависела моя жизнь. Я это чувствовал всем телом. Я давно уже понял, что это за зверь передо мной — тигр.

Тигр всегда казался мне страшней льва. Ползучая грудка мышц и страшная способность одним прыжком, мгновенно, бросать своё многопудовое тело на десяток метров...

Во второй раз я прицелился в голову: рассчитал, что если и соскользнёт пуля по гладкой кости черепа и зверь кинется на меня, а всё же успею ещё раз или два выстрелить в него, пока он очутится рядом.

Рука не дрогнула. И после выстрела я опять мгновенно перезарядил винтовку. Та же картина: зверь молча, быстро ползёт на меня. Теперь и семидесяти пяти шагов не было до него, и я уже видел его растопыренные усы.

Что это: мираж, обман зрения? С таким же успехом можно стрелять в лёгкое облачко тумана. Когда я выстрелил в третий раз, тигр был в пятидесяти шагах от меня. Я видел его сверкающие глаза. Они не моргнули и после выстрела.

Вдруг меня обожгла страшная догадка: я стреляю холостыми патронами! Ужас моего положения ясно представился мне: остаётся два выстрела, я не успею вставить другую обойму. И эти последние патроны — тоже лишь безвредные хлопучки.

Четвёртый выстрел я сделал, когда зверь был в каких-нибудь тридцати пяти шагах от меня. Тигр — ни звука. Только гибкий хвост, который я до того принимал за продолжение его неимоверно длинной спины, заходил по земле, как у кошки, подбирающейся к воробью. Зверь готовился к прыжку.

Не помню, куда и как я выпустил пятую, последнюю мою пулю. В момент выстрела громадное огненное тело зверя беззвучно, с непостижимой лёгкостью отделилось от земли и метнулось ко мне.

Я выпустил пустую винтовку из рук, отскочил назад и ногами вниз скользнул в узкую нору на дне окопа.

В тот же миг надо мной нависла страшная пасть зверя. В лицо мне пахнуло горячим зловонным дыханием. Кроваво-красный язык и белые громадные клыки были над самыми моими глазами. Сумасшедший рёв совсем оглушил меня.

Я заорал, кажется, ещё громче зверя. И потерял сознание.

Очнулся я в постели. У изголовья стоял доктор в белом халате. Вся комната была полна молодых офицеров. У всех были испуганные лица, во всех глазах — напряжённое ожидание.

— Как себя чувствуете? — обыкновенным голосом спросил доктор.

Мне всё припомнилось сразу.

— А тигр? — спросил я. Все наперебой закричали:

— Тигр убит!

— Сдох над вами!

— Небывалой величины зверь! — Блестящая стрельба!

— Все пять пуль в нём!

— Две в левой щеке!

— Две в левом лёгком!

— Одна в левом плече!

— Если бы чуть пониже, — торопливо вставил мой знакомый, — угодила бы как раз в сердце. А так все пять пуль прошили зверя насквозь, без задержки.

Шкуру убитого мною тигра, или — по-тамошнему — джувльбарса, я увидел только через два месяца, уже в Ленинграде. Товарищи по охоте дали из неё сделать ковёр. Ковёр вышел замечательный, такой большой, что покрывает весь пол в моей комнате.

Но когда я его в первый раз увидел, я вздрогнул: очень уж ярко припомнилось, как эта страшная туша на меня ползла, такая же безмолвная и такая же равнодушная к пулям, как этот ковёр.

1936 г.

БИАНКИ В.В. НА ВЕЛИКОМ МОРСКОМ ПУТИ

«Уважаемый гражданин председатель!

Сегодня, 17 апреля 19.. года, я отпускаю на волю дикого гуся из породы белолобых казарок.

Птицу эту я случайно купил осенью прошлого года в Ленинграде на улице. Её нёс продавать на рынок охотник. Он рассказал, что поймал казарку за несколько дней перед тем у берега Финского залива, где-то за

городом Ломоносовом. Птица запуталась лапами в рыболовной сети. Зимой казарка прожила у меня на дворе в городе Витебске. Скоро она стала очень ручной. Позволяла даже гладить себя по спине моему сыну, когда он приносил ей пищу. Весной, однако, она стала дичать. По тому, как она натягивала и щипала привязывавшую её верёвку и била крыльями по воздуху, легко было догадаться, что её потянуло на волю. Мы с сыном решили отпустить её. Но мы так привязались к своей дикой пленнице, что нам было жалко расстаться с ней без всякой надежды когда-нибудь снова услышать о ней. Я достал нумерованное алюминиевое кольцо выпуска Московского орнитологического комитета серии «С», No 109. Его мы наденем на ноги птицы. Если кто-нибудь снова поймает нашу казарку, заметит у неё на лапе кольцо и напишет об этом в Орнитологический комитет, не откажите сообщить мне в Витебск, куда она залетела и при каких обстоятельствах была поймана».

Человек, написавший это письмо, приписал внизу свой адрес, подписался и вложил письмо в конверт с адресом Московского орнитологического комитета.

Затем он встал из-за стола, подошёл к двери.

— Мишка! — позвал он сына. — Пойдём выпускать казарку.

Глава первая

Сидя у конуры, казарка яростно теребила клювом привязанную к её ноге верёвку. Но, заметив приближающихся лю-

дей, она сейчас же оставила это занятие, вся выпрямилась и высоко подняла голову. Теперь она казалась ростом с домашнего гуся, хотя на самом деле была значительно меньше. С первого взгляда в ней легко было узнать дикую птицу. Перья на всем её теле лежали как-то особенно гладко и красиво, как они никогда не лежат у домашних птиц. Фигура у неё была статная, крепкая, грудь выпуклая, шея упругая. Её короткие, широко расставленные ноги твердо упирались в землю. На лбу сияло полумесяцем чисто-белое пятно. Когда отец с сыном подошли к ней, она с криком рванулась от них. Верёвка натянулась и дёрнула её назад. Казарка с размаху ткнулась головой в землю.

Этим воспользовался Мишин отец. Он крепко схватил птицу сзади за крылья и поднял её на воздух.

— Развязывай верёвку, — сказал он Мише.

Пока Миша возился с туго затянутым узлом, казарка всеми силами старалась вырваться.

Взрослый человек едва мог удержать её.

— Ну, Мишка, — сказал отец, когда, наконец, верёвка упала на землю, — теперь простись с казаркой пожелай ей счастливого пути!

Миша хотел погладить птицу. Протянул было руку, но сейчас же её отдёнул: казарка грозно на него зашипела. Ему совсем не хотелось, чтобы она ударила его клювом. Он уже раз испытал, как это приятно: две недели у него на ноге не сходил синяк.

— Что, брат, не очень-то? — улыбнулся отец. — Ничего, я придержу её за шею. А ты достань у меня из правого кармана колечко и плоскогубцы.

Миша подал.

— Ну-с, — продолжал отец, — разомкни кольцо и надень его казарке на лапу. Сделал? Хорошенько сожми его концы щипцами. Так. Теперь, если она попадётся кому-нибудь в руки, так мы с тобой ещё о ней услышим.

— Держи карман... — с сомнением пробормотал Миша.

— А? Что ты говоришь? Видишь на кольце адрес и номер? Если кто-нибудь поймает нашу казарку, он должен сообщить номер её кольца по этому адресу в Орнитологический комитет. А я, в свою очередь, написал в комитет, чтобы оттуда сообщили нам, где будет поймана казарка. Понятно?

— Понятно-то оно понятно, — бурчал Миша, — да не очень верно, что она ещё раз кому-нибудь попадётся.

— Как знать! Ну-с, а теперь я её выпускаю, — сказал отец. — У меня уже руки устали держать её.

Он подбросил птицу в воздух. Казарка взмахнула крыльями и полетела низко над землёй. Но вдруг, почувствовав, что ничто уже больше не привязывает её к земле, она рванулась вверх, перелетела через забор и поднялась над крышей.

— Гонк! Гонк! — раздался вверху её радостный крик.

Через минуту она казалась уже маленькой мушкой. Отец и сын глядели ей вслед.

Когда она совсем скрылась из виду, отец послал Мишу опустить в почтовый ящик письмо председателю Орнитологического комитета.

Глава вторая

Казарка летела высоко над землёй. В вышине гудел ветер. Кругом, насколько глаз хватал, никого не было видно. Вверху быстро и бесшумно плыли ей навстречу белые облака.

Земля внизу казалась чёрной. Лишь в ложбинах кой-где ещё лежал снег. Там, внизу, медленно-медленно исчезая, подвигались назад поля, леса, деревни реки. Над ними большая стая чёрных птиц, махая крыльями казалось, неподвижно застыла в воздухе. Время от времени то одна, то другая из птиц, сложив крылья, внезапно проваливалась вниз. Но вдруг, над самой землёй задержав стремительное падение, торопливо поднималась назад в стаю.

Это летели грачи. Понемногу и они, отстав, исчезли из виду. Казарка неслась всё вперёд. Прошло уже несколько часов с тех пор, как она почувствовала себя свободной. Она спешила теперь разыскать других казарок, чтобы вместе с ними совершить длинный и опасный путь на родину. Но до сих пор она никого не встретила в вышине.

Вот если б ей добраться до того места, где полгода назад поймал её охотник! Она хорошо помнила это место. Там было море. Там пролегал Великий морской путь. По нему стая за стаяй вереницей тянулись казарки, гуси, лебеди, утки, кулики и другие морские и прибрежные птицы. На Великом пути она

рассталась с родной стаей и со своим неразлучным другом — гусем-казанком. Скоро, может быть, она снова найдёт его.

Охотник увёз её оттуда в тёмном мешке: она не могла запомнить дорогу. Но безотчётное чувство, знакомое одним птицам, безошибочно указывало ей верный путь.

Долгий и быстрый полёт не утомил казарку: птицы не знают одышки. Каждый взмах крыльев наполнял воздухом её лёгкие и через них — воздушные мешки во всем теле, даже в пустых костях. Те же мускулы, что двигали её крыльями, то растягивали, то сжимали эти мешки. Воздух свободно входил и выходил из них. И дыханье казарки оставалось таким же ровным, как если б она спокойно сидела на месте. Заставить её опуститься на землю мог только голод. Ей уже хотелось есть. Всё тело начинала охватывать неприятная слабость, всё труднее становилось двигать крыльями. Казарка стала понемногу опускаться, высматривая удобное место для кормёжки.

Опасно кормиться в одиночестве. Пока будешь нырять за кормом под воду или разыскивать его на земле, и не заметишь, как подкрадётся враг. Казарка оглядывала землю: нет ли где таких птиц, к которым можно бы присоединиться хоть на время кормёжки?

Под собой она видела поля, рощи, перелески. Иногда снизу поднимались крошечные жаворонки, и песни их звенели в воздухе. То тут, то там казарка стала замечать маленькие фигурки людей, коров, лошадей, словно ползающих по земле.

Стараясь держаться в стороне от них, казарка полетела над самыми макушками деревьев. Только теперь она заметила,

что по всему лесу непрерывным строем передвигались мелкие лесные птицы. Безостановочно перескакивая с ветки на ветку, перепархивая с дерева на дерево, они стайками двигались всё вперёд с писком, свистом, щебетаньем и песнями. Их было особенно много по опушкам леса. Тут звонко пинькали разноцветные зяблики, мелькали красные шапочки чечёток, поблескивали оранжевым и белым крылышки тревожно жужжащих вьюрков, громко трещали серые дрозды.

Время от времени стайки слетали с ветвей и горохом рассыпались по земле. Птицы весело прыгали, быстро поклёвывая корм. Но вдруг, словно по какому-то невидимому знаку, одна за другой опять взлетали на деревья и продолжали свой путь по ветвям.

Казарка радовалась этим маленьким спутникам. Но голод, голод заставлял её думать о другом. Надо было поскорее найти место, где можно будет безопасно и сытно покормиться. Наконец, далеко впереди на чёрной земле блеснула узкая полоска воды. Она стала быстро расти, расти, и скоро казарка увидела перед собою широкую, полноводную реку. Река так разлилась, что чёрные, не покрытые ещё листьями кусты её низкого берега торчали прямо из воды. Казарка заметила плавающих между кустами птиц.

Сердце заколотилось у неё в груди: вдруг это свои? Она звонко крикнула призывным голосом:

— Гонк! Гонк! Гонк!

— Ваак! Ваак! Ваак! — ответили ей с реки. Нет, это не казарки... Это крикали утки.

Но одинокая, усталая, голодная казарка была рада и этой встрече. Ведь кряковые утки приходятся её дальними родственницами. Они едят ту же пищу, что и она. Она даже немного понимала их язык.

Казарка замедлила полёт, сделала один, два, три все уменьшающихся круга в воздухе. Потом, шумно разбрызгивая воду, тяжёло опустилась рядом с утками. Вся стая их сейчас же сплылась, окружила казарку. Поднялось громкое кряканье: видно, утки были рады госте.

Через минуту казарка уже добывала себе пищу среди их стаи. Она быстро перекувырнулась головой вниз. Её оранжево-жёлтые лапы замелькали у самой поверхности воды. Нахватав полный клюв травы и мелкой водяной живности, казарка вынырнула, процедила воду сквозь частые боковые пластинки клюва и проглотила мягкую пищу. Кругом, поблескивая фиолетово-синими зеркальцами на крыльях, точно так же кувыркались утки.

Над рекой мелькали хвосты и головы птиц. Но каждый раз, лишь только одна из них выныривала, она тотчас же высоко поднимала голову и зорко озиралась. Ни один враг не мог приблизиться к стае незамеченным: пока одни птицы ныряют, другие, вынырнув, сторожат. Достаточно одного предостерегающего крика, чтобы вся стая насторожилась и, в случае необходимости, в ту же минуту обратилась в бегство.

Но и в этот раз, как всегда бывает, беда стряслась неожиданно. Едва одна из уток заметила мелькнувшие за кустами

крылья большого сокола, как он уже был над ней. Отчаянный крик крякушки в одно мгновение всполошил всю стаю.

Нападение было так быстро, что птицы не успели сообщить, откуда им грозит опасность. Все сразу бросились врассыпную. Казарка забилась под куст, утки нырнули под воду, а одна из них поднялась на воздух.

Только этого и надо было соколу. Вихрем пронёсся он над кустом и ударил утку. В воздухе закружился пух и, качаясь, стал медленно опускаться на воду.

А сокол был уже далеко с мёртвой добычей в когтях. Сквозь куст казарка видела, как на другом берегу широкой реки он уселся на обрыв и принялся потрошить птицу. Потом он ощипал её и стал есть.

Казарка оглянулась. Уток нигде не было видно. С перепугу они забились под кусты и не решались вылезть из-под их защиты.

Сокол между тем кончил обед, тщательно отер клюв о землю и пригладил им перья у себя на груди и крыльях. Затем поджал одну ногу и перестал двигаться. Только голова его с хищным, крючковатым клювом по временам медленно поворачивалась из стороны в сторону, и большие блестящие глаза спокойно и величаво поглядывали вокруг.

Это был крупный перелётный сокол сапсан, один из самых смелых пернатых хищников. Ростом он был меньше казарки, но она чувствовала непреодолимый ужас при одном взгляде на него. И это; была не трусость. Хотя сапсан величиной

всего с ворону, но в воздухе от него нет спасенья даже таким большим и сильным птицам, как цапли и гуси.

На земле и в воде сапсан не трогает птиц. Только молодые, неопытные соколы, бывает, бьют добычу слишком низко над землёй. Если им случится промахнуться, они насмерть разбиваются грудью о землю. Взрослый сапсан нападает на птиц из засады и, испугнув, бьет сверху всегда без промаха.

Счастье казарки, что в переполохе она не поднялась на воздух. Сокол сразу различил бы её среди стаи уток, и тогда ей не миновать бы острых когтей.

Теперь сапсан был сыт. Любая птица смело могла приблизиться к нему, и он бы её не тронул. Он не такой разбойник, как ястреб, который убивает всех, кого только может, даже когда сыт. Только голод заставляет сапсана убивать.

Одна за другой утки, осмелев, стали выплывать из своих убежищ. Сапсан их видел, но не шевельнулся. Его крепкое тело с широкой грудью словно приросло к камню. Когда он не двигался, его почти невозможно было отличить от окружающих камней и комьев земли. Под цвет их удивительно подошла его аспидно-бурая спина, чёрные перья крыльев и серополосатая грудь, брюхо и хвост. Только белое горло выделялось на бурой земле, как светлый камешек.

Когда все утки сгрудились в стаю, они сразу, как по сигналу, снялись с воды и, стремительно забирая вверх, с шумом промчались над головой сапсана.

Склонив голову набок, сапсан спокойно поглядел им вслед.

Уже несколько дней он летит за стаей, выхватывая из неё то одну, то другую птицу себе на обед. Он, как и утки, пробирается теперь на север, к себе на родину. Когда он сыт, он пропускает стаю вперёд. Но лишь только голод напомнит ему, что желудок его пуст, сапсан быстро догоняет утиную стаю. Так никогда он не остаётся без пищи в пути.

И сейчас он спокойно смотрит вслед улетающей стае, стараясь запомнить направление её полёта.

Вдруг в глазах его блеснул хищный огонёк. Он сразу весь вытянулся и насторожился. Среди уток он увидел казарку. Это была ценная дичь.

В эту минуту ничего не подозревавшая казарка нажила себе неумолимого, безжалостного преследователя, от которого не могли её спасти ни быстрые крылья, ни крепкий клюв.

Глава третья

Настала тёплая прозрачная ночь. Таял снег. В бледном небе чуть заметно мерцали редкие звёзды. Внизу, в деревне, один за другим гасли мутные красные огоньки.

Было тихо кругом. Из темноты доносился только лёгкий звон неведомо куда бегущих ручейков. Вот послышался в вышине приближающийся свист крыльев невидимой утиной стаи. Над самой деревней прозвучал с неба звонкий трубный гогот казарки.

Во дворе на окраине деревни всполошились домашние гуси. Громко захлопали крыльями и закричали пронзительно и

тоскливо. В лёгком сумраке ночи им померещилась неясная тень пролетающей вдаль стаи.

Через несколько времени та же неуловимая тень скользнула над другой деревней, потом над третьей. И всюду трубный голос казарки будил и волновал деревенских гусей. Давно забывшие волю домашние птицы в смутном порыве били крыльями по воздуху. Но отвыкшие от полёта, ненужные им теперь крылья не поднимали их с земли, не могли помочь вырваться из неволи. И долго в ночной тишине не умолкал их крик, полный бессильного отчаяния.

А казарка, счастливая своей свободой, быстрыми, уверенными взмахами уносилась всё дальше и дальше. Она неслась навстречу опасностям, может быть даже смерти. Но впереди ждало её море, Великий путь морской, и на нём — шумные стаи подоблачных странников и встреча с покинутым другом.

К концу ночи утиная стая опустилась на залитое талой водой лесное болото. Тут было темно и тихо. Ветер сюда не проникал. Гладкая чёрная вода блестела, отражая светлеющее небо. Тесным кругом обступили болото мрачные ели. Их широкие ветви шатром нависли над самой водой.

Темнота птиц не пугала: в ночном мраке они различали все окружающие их предметы. Пока всё оставалось неподвижным, птицы могли быть спокойны. От их глаз не ускользала ни одна тень. Враги не могли подкрасться к ним незамеченными.

В лесу была мёртвая тишина. Лишь изредка напряжённый слух птиц улавливал мягкий шорох где-то в глубине тём-

ной чащи. Сейчас же одна из уток тихонько крякала и вся стая мгновенно вытягивала шеи, прислушивалась и оглядывалась. Но шорох больше не повторялся, птицы успокаивались и снова принимались за еду. Опять в ночной тишине слышался только тихий плеск погружающихся в воду тел. Стая торопилась насытиться, пока снующие кругом враги не открыли её убежища.

Казарка ныряла у самого берега, под защитой густых еловых лап. Тут она чувствовала себя в безопасности: если бы какой-нибудь хищник напал на уток, плавающих посреди открытого болота, она успела бы ускользнуть.

На дне болота росли длинные цепкие водоросли. Скоро казарка почувствовала, что запуталась в них ногой. Она порывисто рванулась вперёд, но металлическое кольцо больно вонзилось ей в ногу. Крепкие водоросли зацепились за него. Казарке показалось, что она снова на привязи. В это время в чаще явственно хрустнул сучок. Казарка перестала дёргать лапой и медленно повернулась всем телом к берегу.

Из мрака седой ели смотрели на неё в упор два мерцающих жёлтым огнём, немигающих глаза. Казарка хотела вскрикнуть. Но судорога сдавила ей горло. Всё тело её оцепенело от ужаса. Стоит только пошевелинуться — и невидимое чудовище всей тяжестью обрушится на неё и раздавит.

Казарка уже не чувствовала боли от впившегося ей в ногу кольца. Она и не думала бежать. Не могла оторвать взгляда от этих пронизывающих её глаз.

Вдруг что-то резко толкнуло её в бок. На миг глаза казарки оторвались от тех глаз. Рядом с собой она увидела утку, задевшую её крылом. В ту же минуту спало с неё оцепенение. И казарка так сильно рванулась с места, что лопнули водоросли, державшие её за ногу. С громким криком она бросилась бежать по воде, помогая себе крыльями. Встревоженные утки снялись с болота.

В то же время из чащи раздался злобный лай лисицы. Лай перешёл в визг, потом в ворчанье. Птицы слышали затихающий в лесу треск сучьев под ногами удалявшегося зверя. Лиса знала, что напуганная стая сядет теперь в середине болота и больше уж не удастся подстеречь птиц у берега.

Утки и казарка носились над водой. Они ещё не были сыты, и им не хотелось улетать отсюда. Но кругом было много страшных врагов, прятавшихся в темноте.

— У-гуу! — раздался вдруг зловещий голос из глубины леса.

Плавно опускавшаяся к воде стая дружно замахала крыльями.

— У-гуу! У-гуу! — послышалось в ответ в другой стороне.

Стая круто взмыла кверху и понеслась над лесом.

— У-гуу! У-гуу! — теперь филины перекликались где-то внизу и не были уже страшны стае. Светало. В деревьях просыпались люди.

Прошёл час ровного, неторопливого полёта. Лучи восходящего солнца, скользнув по розовым облакам, спустились

книзу и заиграли на цветных крышах показавшегося вдали города.

Глава четвёртая

В это время сапсан уже догонял утиную стаю.

Не замедляя быстрого, как вихрь, полёта, он промчался над просыпавшимися деревнями. Домашние гуси при виде его в испуге кричали и шарахались под защиту навесов. Сапсан мчался всё дальше и дальше. Внизу мелькали деревни, поля, рощи. Наконец он понёсся над большим еловым лесом. Стайки мелких птиц то тут, то там показывались над деревьями. Появление сокола мгновенно обращало их в бегство. Они врассыпную кидались вниз, вверх, в стороны — лишь бы оказаться подальше от страшного хищника.

Но сапсан не обращал на них внимания: впереди его ждала крупная добыча. Он нёсся всё быстрее, быстрее.

Солнце ещё низко стояло над горизонтом, когда сапсан увидел вдали город. Между тем казарка, не чуя настигающей её беды, замедлила полёт. Она с удивлением разглядывала с высоты развернувшийся под ней город.

Люди ещё спали в домах.

Город казался мёртвым. В разных направлениях его пересекали серокаменные перегородки, крытые буро-красным железом. Разных размеров четырёхугольные и косые клетушки вплотную примыкали друг к другу. Длинные, прямые, узкие улицы между ними напоминали сухие русла канав. Посредине города сверкала река, сжатая прямыми гранитными берегами.

Там, где она разбивалась на два рукава, по сторонам её выселись две тонкие золотые иглы. Расстояние между сапсаном и стаей, летевшей всё прежним неторопливым полётом, уменьшалось с каждой минутой. Но ни утки, ни казарка не замечали преследователя. Взгляд казарки остановился на круглой золотой крыше громадного дома. Залитое ярким солнечным светом, золото слепило глаза.

Казарка видела, как из-под этой крыши вывернулась птица и быстро полетела вверх. Скоро можно было различить изогнутые серпом крылья сокола.

Тревожно крякнула одна из уток, и вся стая стала подниматься. Сокол мчался к ней почти по прямой линии. Теперь спасение зависело от того, сумеет ли стая не дать соколу догнать её и набрать высоту для удара в спину.

Птицы молчали, напрягая все свои силы в этой воздушной борьбе. Так прошло несколько томительно долгих мгновений. Становилось уже трудно дышать в разреженном воздухе подоблачной высоты.

Казарка с ужасом замечала, что, несмотря на все её усилия, сокол становился всё лучше виден, всё приближался. Кровь стучала у неё в голове. Сердце больно колотилось в груди. Вдруг сокол перестал подниматься. На миг он неподвижно повис в воздухе, повернулся и внезапно стрелой метнулся в сторону.

Воспользовавшись этим счастливым для неё оборотом дела, стая дружно понеслась прямо вперёд. Одно мгновение казарка ещё видела под собой быстро мелькавшие крылья со-

кола. Ей показалось, что он мчится навстречу своему отражению в воде. Но в следующее мгновение сокол и его двойник пропали у неё из глаз.

Теперь казарка взглянула вперёд. Ликующий крик вырвался у неё из груди: прямо перед ней, искрясь в золотых лучах утреннего солнца, лежало море.

Там простирался Великий путь.

Когда сапсан заметил летящую высоко над городом казарку среди утиной стаи, он понёсся ещё быстрее. Ему некогда было теперь смотреть по сторонам: расстояние между ним и стаей уменьшалось с каждым взмахом его крыльев. Теперь надо было подняться выше, чтобы ударить казарку сверху.

Ни одна из птиц в стае не обернулась назад. Значит, они ещё не заметили его. Но отчего же они поднимаются всё выше и выше?

Сапсан глянул вниз. Там навстречу ему поднимался другой сокол. Одно мгновение сапсану казалось, будто он видит своё отражение в воде: так похож был на него встречный сокол. В следующий миг сапсан понял, почему устремились вверх утки: другой сокол тоже преследовал стаю, утки спасались от него.

Соперник тоже заметил сапсана. Он приостановился в своём полёте вверх, круто повернулся на месте и вдруг стремглав бросился наперерез сапсану.

Оба сокола были в эту минуту на одинаковой высоте.

Сапсан с самого восхода солнца без отдыха гнался за стаей и устал, но он был крупнее своего соперника.

Сокол, поднявшийся из города, казался меньше, но у него был свежий запас сил. С громким боевым криком — гхиак! гхиак! — он бросился на противника.

Услышав этот яростный крик, сапсан потерял всё своё мужество, повернулся и пустился наутёк.

Городской сокол с торжествующим криком помчался за сапсаном. Погоня продолжалась до тех пор, пока сапсан не вылетел за черту города. Тут его преследователь отстал и вернулся к себе домой, под золотой купол, где впервые его заметила казарка.

Здесь он жил среди шумного, людного города. Смелый до дерзости, как все соколы, он часто хватал голубя или галку над самой головой прохожих. Горожане даже не подозревали, что этот смелый хищник живёт, рядом с ними в столичном городе. Многие из них видели, как стая голубей, испуганная внезапным появлением сокола, с шумом проносилась у них перед глазами. Но они не догадывались поглядеть вверх или просто не замечали ни внезапного смятения голубей, ни быстрого нападения хищника.

Встреча двух соколов спасла жизнь казарке. Сапсан, утомлённый головокружительным бегством, вынужден был опуститься в первой попавшейся ему за городом роще. Пока он отдыхал здесь, утиная стая долетела до моря и затерялась среди других странников Великого морского пути.

Глава пятая

Миша разложил перед собой большую карту, нашёл на ней город Витебск и подчеркнул карандашом.

Мысль о выпущенной на волю казарке не давала ему покоя.

«Ладно, — думал Миша. — Пусть она летит туда, где её поймали».

Он провёл прямую черту от Витебска до Финского залива, левее Ленинграда. «Правда, оттуда её везли в закрытой корзинке. Ну, что ж, почтовых голубей тоже в закрытых корзинках возят. Находят же они всё-таки дорогу назад, в свою голубятню. А дальше?» Миша задумался:

«Казарки, говорят, на самом севере гнездятся. Путь у них через Ладожское да Онежское озера, дальше мелкими озерами. И залетит куда-нибудь на Новую Землю. Кто её там поймает? Там и людей-то — раз, два и обчёлся. А и застрелит ненец-охотник, — разве он знает, что надо про кольцо в Москву заявить?»

— Батяка-у! — закричал вдруг Миша во весь голос. — Знают ненцы, что о кольце надо в Москву заявлять?

— Что такое? — отозвался отец из своей комнаты. — Какие немцы? Про какое кольцо?

— Да не немцы, а ненцы. Если нашу казарку охотник, какой-нибудь ненец на Новой Земле, застрелит, — догадается он про кольцо заявить?

— А, ты вот о чем! Что ж, очень возможно, что и заявит. Северные охотники — народ очень приметливый и любозна-

тельный. О птице с кольцом на ноге быстро разнесётся слух по всем становищам. Узнают, конечно, об этом и тамошние научные работники и дадут знать в Москву.

— Пожалуй, что и так, — согласился Миша. Дельно было бы с Новой Земли известице получить: дескать, кланяется вам белолобая казарка.

Миша поднял глаза от карты и задумчиво посмотрел в окно. Тут глаза его разом расширились от испуга: за окном валил снег, бушевала настоящая метель. Миша думал:

«Ну, значит, конец теперь казарке. Зима вернулась. Куда птице деваться? Не прилетит же обратно в свою конуру?»

Миша пошёл к отцу и сказал ему о своих опасениях. Отец уверял, что ещё ничего не известно, — может быть, там, где теперь казарка, и нет никакой метели. Может быть, там прекрасная погода. Да, в конце концов, не все же птицы гибнут, когда в пути их застаёт буран. Что за чепуха такая — воображать себе всякие ужасы!

— Нет, — сказал Миша твердо, — я знаю: маху мы дали. Нельзя было так рано выпускать казарку. Надо было настоящего тепла дожидаться. Она у нас привыкла в тепле жить. Теперь погибнет от стужи.

И махнул рукой.

Глава шестая

Шум стоит на Великом морском пути весной и осенью.

Дважды в год проносятся по нему густые толпы крылатых странников. Дважды в год они облетают четверть земного

шара вслед за лучами солнца. Одним своим концом Великий путь упёрся в сумрачный Северный Ледовитый океан, другим — потерялся в цветущих странах жаркого экватора.

Ранней весной горячие лучи солнца скользнут вниз по склону земного шара, борясь с мраком долгой северной зимы, ломая лёд и освобождая воды. Тогда бесчисленные стаи морских и прибрежных птиц поднимаются с тёплых озёр и морей южной Европы и Африки. Бесконечной вереницей, каждая в свой черёд, своим строем летят они вдоль берегов Африки и Пиренейского полуострова, Бискайским заливом, проливами, Северным и Балтийским морями.

Постепенно часть стай начинает отставать, сворачивает с Великого пути и широко разлетается в стороны, расселяясь по окружным озёрам, рекам и топям. Но всё новые и новые стаи прибывают с юга. Там, где узкий Финский залив глубоко врезался в сушу, они поднимаются над лесом и летят почти непрерывной цепью озёр до холодного Белого моря и дальше, вдоль берега Ледовитого океана, до Новой Земли. Тут последние стаи разбиваются на пары. Тут они строят гнёзда, выводят маленьких пушистых птенцов.

Они спешат, потому что на севере лето коротко. Едва их птенцы подрастут и выучатся летать, птицы снова собираются в стаи, чтобы лететь на юг. Голод, надвигающийся вместе с мраком и холодом, гонит их за ускользящими лучами солнца. Настаёт осень, и ещё более густые толпы крылатых странников покрывают собой Великий морской путь.

Долгий путь труден. Но беззаботная жизнь на юге быстро восстанавливает истощённые силы. Незаметно проходит месяц за месяцем. Вдруг безотчётное волнение охватывает птиц. Им больше не сидится на месте.

Там, на их родине, началась весна.

И вот стая за стаяй — первыми те, что прилетели последними, последними те, что прилетели первыми, — птицы снова отправляются в путь на далёкий север.

Лёд уже растаял на Финском заливе. Последние льдины, застряв на камнях и мелях близ берега, ещё белели среди серой глади моря. Они служили приютом для отдыха пролётных стай.

На одну из этих льдин и опустилась утомлённая казарка.

Она только что рассталась со своими спутницами — утками. Утки остались кормиться у берега, а она полетела разыскивать свою родную стаю.

Место это было ей хорошо знакомо: как раз тут прошлой осенью она отделилась от своей стаи, запуталась в рыболовной сети и попала в руки охотнику.

Но теперь диких гусей нигде кругом не было видно.

Был полдень — время отдыха в пути. Лишь изредка проносилась вдали одиночная стая спешивших на кормёжку птиц.

Над льдиной летали взад и вперёд чайки. То одна, то другая из них, подняв прямо над спиной крылья, падала в волны. Искры светлых брызг на мгновение скрывали от глаз белую птицу. Через миг она снова махала крыльями в воздухе, бы-

стро поднимаясь от воды. В её клюве блестела серебряная рыбка.

На чаек казарка не обращала никакого внимания. Она всматривалась в серую рябь волн. У самой льдины и дальше в море то показывались, то исчезали в воде ловившие рыбу нырки. Чаще всего попадались на глаза белогрудые гоголи, большие чёрные турпаны с белой перевязкой на крыле и пёстрые длиннохвостые морянки.

Вот очень далеко от себя, между льдиной и берегом, казарка заметила двух больших птиц. Ей показалось, что это гуси. Вода блестела в солнечных лучах, как сталь; глаза уставали всматриваться вдаль.

Казарка сейчас же опустилась на воду и поплыла к этим птицам. Волны поднимались у неё перед глазами и мешали смотреть вдоль по поверхности моря.

Так прошло несколько минут. Наконец она снова увидела их, уже в стороне от того места, где высмотрела их со льдины. В ту же минуту обе птицы опустили головы и быстро погрузились в воду. Казарка заметила резкие белые полосы на спине одной из них, её острый, совсем не похожий на гусиный клюв.

Она сразу узнала в них больших морских птиц — гагар.

Казарка была теперь недалеко от берега. Тут стали ей попадаться разные утки. Мелкие заливчики берега были полны илом. Утки находили в нём обильную пищу. Разные породы их держались отдельными группами, то приближаясь, то отдаляясь друг от друга. Только маленькие бойкие чирята сновали между ними, приставая к разным стаям.

Здесь были и разноцветные рыжеголовые связы, и шилохвосты, вся спина которых испещрена тончайшими волнистыми полосками, а длинный острый хвост действительно наминает шило, и кряковые — такие самые, как те, в стае которых прилетела сюда казарка. Может быть, даже тут были и её недавние спутницы: кряковых уток было так много и все они были так похожи друг на друга, что казарка не сумела бы различить среди них своих знакомых.

С плеском и кряканьем птицы спешили насытиться, чтобы вечером с новыми силами пуститься в путь. Над самой водой поблескивали на их крыльях разноцветные перья, словно маленькие зеркала. У кряковых зеркала отливали фиолетовым, у шилохвостей — серым, у связей и чирков — зелёным.

Это было красивое зрелище. Особенно хороши были селезни в своих ярких, весенних нарядах. Но казарке было не до них. Чувство одиночества всё больше и больше охватывало её: гусей и тут нигде не было.

Голод мучил её. Она стала доставать корм со дна, плавая среди утиных стай. Прошло много времени, пока она наелась досыта. В первый раз с тех пор, как она очутилась на свободе, она почувствовала себя сытой и отдохнувшей.

Полуденный отдых на Великом пути кончился.

Над Морем всё чаще стали показываться летящие на север стаи. Воздух наполнялся шумом, свистом и хлопаньем крыльев.

Где-то за лесом громко курлыкали журавли.

С моря доносился многоголосый крик большой стаи го-голей и протяжные стоны чаек. Казарка с новыми силами поплыла в море разыскивать свою стаю.

Вечер застал по-прежнему одинокую казарку снова на льдине среди моря.

Теперь над самой головой казарки и вдали ежеминутно проносилась стая за стаяй. Но напрасно среди них она искала глазами свою родную стаю. Гуси всё ещё не показывались. Солнце уже опускалось в море. Погода начинала портиться. По небу медленно ползла вверх большая чёрная туча. Над водой проносились лёгкие серые облачка тумана. Они всё чаще окутывали льдину, обдавая казарку сыростью.

С той стороны, куда летели пролётные стаи, прозвучали громкие трубные клики лебедей. Через минуту опять повторился их клик.

Три огромные белые птицы, отливая серебром, махая тяжёлыми крыльями, плавно скользили по воздуху. Их прямые длинные шеи были вытянуты далеко вперёд.

Лебеди возвращались. Это не предвещало ничего хорошего.

Большая льдина, где сидела казарка, привлекла внимание лебедей. Широкими плавными кругами, всё так же медленно двигая крыльями, они опустились к самой воде. Наконец тяжёловёсно сели на воду и некоторое время плыли вперёд, не в силах сразу остановиться. Теперь шеи их были высоко подняты. С гордым и величественным видом они спокойно оглядывали море. Потом, ломая обтаявший с края лёд, один за дру-

гим поднялись на льдину. Туман всё сгущался. Больше не видно было стай, летящих на север.

Беспорядочные густые толпы уток возвращались назад вслед за лебедями. Долетев до льдины, они с шумом усаживались вокруг неё на воду.

Там, впереди, на морском пути, случилось несчастье: туман опустился непроницаемой стеной. Окружённые густой серой мглой, птицы сбивались с пути и гибли целыми стаями, разбиваясь о серые скалы. Те, что ещё не заблудились, спешили вернуться назад.

Казарка не знала, что и её родная стая была там, впереди. Она долго ещё сидела, напряжённо вглядываясь в сгущающуюся тьму, и напрягала слух в надежде услышать знакомые голоса. Вернувшиеся стаи устраивались на ночлег. Наконец и глаза казарки стали смыкаться. Она подвернула голову под верхние перья крыла и заснула.

Глава седьмая

Казарка спала крепко. Сквозь сон она слышала только неясный гул птичьих голосов и плеск волн о льдину.

Во сне она забыла своё одиночество. Ей казалось, что она среди своей родной стаи. Ей даже слышался кругом громкий говор гусяного табуна.

Вдруг сильный толчок в плечо заставил её прийти в себя. Она быстро высвободила голову из-под крыла и раскрыла глаза. В первую минуту она ничего не видела. Кругом была чёрная мгла, липкий туман. Шум волн мешал различать голоса.

Новый толчок — теперь прямо в грудь — чуть не свалил её с ног. В это время у самой головы её раздалось громкое шипенье.

— Гонк! — изо всей силы крикнула казарка. Спереди, сзади, со всех сторон вокруг неё из тьмы раздались такие же голоса.

— Го-го-го-гонк-гонк-гонк-гонк! — гоготали гуси. Это был уже не сон. Она действительно была среди своей стаи, опустившейся на льдину, пока она спала. Её стая нашла в тумане дорогу назад.

Старый гусь-вожак наткнулся в темноте на казарку и ударами клюва хотел прогнать её со льдины. Но, как только она подала голос, он узнал её и отошёл в сторону. Приглядевшись, казарка увидела за ним тесно сгрудившийся табун и поспешно шагнула вперёд.

Табун расступился и опять сомкнулся за её спиной.

К утру туман стал редеть. Свежий бриз гнал по морю его разорванные клочья. Табун белолобых гусей всё ещё сидел на льдине.

В это утро на всем Великом пути не было птицы счастливее казарки.

Она беззаботно плавала у края льдины и, красиво изгибая шею, оправляла клювом перья у себя на груди. Рядом с ней плавал её гусь-казанок.

Это была дружная пара. Три года они прожили вместе и ни разу не разлучались до того дня, когда казарка попала в неволю к людям.

Теперь счастливый случай помог им снова найти друг друга.

Когда казарке надоело плавать, она вылезла на льдину. Тут, при ярком свете выглянувшего из моря солнца, казанок увидел на её ноге широкое белое кольцо. Он сейчас же принялся теревить его, стараясь освободить подругу от этой ненужной вещи. Но он ничего не мог поделывать с крепким металлом. Острые края кольца только ранили ему клюв и причинили боль казарке.

В это время вожак затрубил сбор.

Гуси сейчас же собрались в кучу и затихли. Вожак повторил крик, медленно расправил крылья и грузно поднялся на воздух. Табун последовал за ним, на лету выстраиваясь тупым углом. Вожак летел впереди, мерно рассекая воздух крыльями; за ним тянулись другие старые гуси. Молодёжь летела в хвосте стаи.

Долетев до берега, табун поднялся повыше. Под ним был лес. Гуси спокойно озирали его с высоты и неторопливо переговаривались.

Когда вожак устал, он опустился ниже и, пропустив вперёд над своей головой стаю, полетел в хвосте её. Его место занял другой старый гусь. Таким образом, строй стаи не был нарушен. Казарка, летевшая позади своего гуся-казанка в середине угла, заметила сапсана, сидевшего на вершине сухого дерева на опушке леса. Видел его и вожак.

Но грозный хищник на этот раз не испугал казарку. Вожак не ускорил полёта и не подал тревожного сигнала. Против целого табуна сапсан был бессилён.

За лесом показалась деревня.

Вожак загоготал, и табун поднялся выше.

Над соломенными крышами вился лёгкий дымок.

Посреди улицы шёл человек. Казарка узнала в нём охотника, который вытащил её из сети осенью прошлого года.

Услышав гогот у себя над головой, охотник высоко поднял голову, прикрыл рукой глаза от солнца и долго смотрел вслед улетающим гусям. Он видел, как, миновав околицу, табун стал снижаться, опускаясь на поля.

Тогда охотник потёр себе рукой уставшую от напряжения шею, повернул назад и поспешно скрылся в одной из изб на краю деревни.

Табун опустил за околицей на озимое поле. Гуси широко разбрелись во все стороны. Они щипали молодые зелёные всходы. Только две старые птицы из всего табуна оставались неподвижными. Они стояли, вытянув шеи, по краям стаи и по минутно озирались.

Казарка и гусь-казанок щипали озимые далеко от сторожевых гусей. Но лишь только раздалось тихое предостерегающее «го-го-го-го», оба они, как и все другие гуси, забыли про корм и насторожились.

Кругом они не заметили ничего подозрительного. Правда, со стороны деревни медленно брела к ним лошадь. Она,

видно, сорвалась с привязи: на шее у неё болталась верёвка. Но лошадей гуси не боятся, если с ними нет человека.

Людей поблизости не было. Казарка снова принялась за еду. Успокоились и все остальные. Сторожевой гусь загоготал громче. Казарка видела, что он смотрит на приближающуюся лошадь, но никак не могла понять, почему она его беспокоит. На этот раз гуси со всех сторон стали собираться в кучу. Табун сгрудился, и все птицы смотрели на лошадь. Теперь и казарка почувствовала смутное беспокойство.

Чем больше она смотрела на лошадь, тем сильнее охватывало её удивление: ей казалось, что у этой лошади что-то слишком много ног. От этого становилось страшно. Наконец один из сторожевых гусей молча снялся с земли и полетел к странному животному, описывая в воздухе широкую дугу вокруг него.

Стае недолго пришлось ждать его возвращения с разведки. Не долетев и половины расстояния до лошади, гусь быстро повернул назад и криком подал сигнал к бегству.

Табун загоготал, захлопал крыльями и полетел за вожак, поспешно выстраиваясь на лету. Охотник, скрывавшийся за лошадью, отскочил в сторону и прицелился. Вдогонку улетающему табуну прогремел выстрел. Но птицы были вовремя предупреждены. Они были уже далеко. Раздосадованный охотник потряс кулаком и прокричал им вслед:

— Не уйдёте всё равно! Приманю дворняжкой!..

Глава восьмая

Была ночь, когда охотник вышел из лесу на берег моря. Из-за плеча его высовывался длинный ствол ружья, а у ног бежала маленькая кудластая дворняжка.

Охотник огляделся. В редующем сумраке был виден песчаный берег, далёкой косою уходящий в море. Вблизи спокойно поблескивала мелкая вода заливчика. На некотором расстоянии от берега тянулась широкая и длинная заросль сухого, прошлогоднего камыша. Пахло тиной. Охотник быстро зашагал по песчаной косе. Дворняжка бросилась за ним.

В камыше тревожно закричали испуганные шумом шагов утки и засвистели невидимыми крыльями. Охотник не обратил на них внимания. Он не за ними явился сюда. Дойдя до самого края косы, он остановился, снял ружьё с плеча и отвязал у пояса мешочек с хлебом. Бросил на песок мешочек и бережно опустил на него ружьё. Дворняжка сейчас же уселась сторожить вещи.

Отыскав поблизости обломок доски, охотник быстро разгрёб им вокруг себя песок, вырыл неглубокую яму и окружил её песчаным валом. Потом собрал кучу выброшенного морем мусора, палок и сучьев, сухого камыша. Всё это он воткнул частым заборчиком в песчаный вал, покрыл с боков и сверху кусками сухой тины и засыпал песком, оставив с одной стороны лазейку, а с других трёх сторон — маленькие отверстия для ружья. Скрадок был готов. Забрав с собой ружьё и узелок, охотник на четвереньках влез в свою засаду и свистнул к себе

дворняжку. Теперь на конце песчаной косы самый зоркий глаз не мог бы обнаружить ни человека, ни собаки.

Между тем стало быстро рассветать. Лежа в скрадке, охотник видел, как нижний край длинного белого облака низко над морем зажёгся золотом, потом стал розоветь, краснеть и, наконец, вспыхнул ярким пурпуром. Ещё через несколько минут над спокойной гладью моря, под самым облаком, показалась ослепительно-красная верхушка солнечного круга. Свежий бриз потянул с берега и зашуршал сухим камышом.

С моря донёсся пронзительный вопль чаек.

Большие стаи птиц то и дело с шумом проносились вдали.

Лежа на животе в своём скрадке, охотник мог видеть только впереди себя. Поэтому он не заметил, как сзади него из лесу вылетел сапсан. Острые крылья сокола мелькнули в воздухе и сейчас же скрылись в ветвях сосны, одиноко стоявшей на песчаной косе.

Пернатый охотник тоже уселся в засаду подстерегать свою добычу.

Скоро стая каких-то больших птиц опустилась на белую льдину далеко от берега. В скрадке на косе послышалась возня, и сейчас же из лазейки выскочила кудластая дворняжка. Она уселась было на песок, но из скрадка полетел мимо её носа кусочек чёрного хлеба. Дворняжка бросилась за ним. Едва успела она схватить и проглотить его, как новый кусок хлеба вылетел из засады и упал на песок в нескольких шагах от неё. Дворняжка опять побежала подбирать его.

Чёрные шарики хлеба, летевшие из скрадка, нельзя было разглядеть издали. Поэтому птицам, наблюдавшим за собакой с моря, казалось непонятным, почему она бежит по песку из стороны в сторону.

Одна из птиц, сидевших на льдине, опустилась на воду и поплыла к берегу. Она всё время поворачивала голову, с любопытством следя за бегающей дворняжкой.

Скоро с берега можно было различить серый цвет оперенья птицы, приподнятый хвост и вытянутую шею.

Кусочки хлеба не переставали лететь из скрадка в разные стороны, и голодная дворняжка по-прежнему бегала за ними по берегу. В одно из отверстий скрадка осторожно просунулся конец ружейного ствола. Но птица не заметила этого, потому что всё её внимание было поглощено собакой. Конец ружья медленно направился прямо в грудь птицы.

В эту минуту она была далеко от охотника, но он уже видел ярко-белый полумесяц у неё на лбу. Это была казарка. Любопытство заставило осторожную птицу забыть опасность. Казарка всё дальше и дальше уплывала от стаи навстречу своей гибели. Её гусь-казанок спал в это время на льдине.

Конец ружья стал поворачиваться, всё время оставаясь направленным на неё. Солнечные лучи ярко заиграли на гладкой поверхности стали. Этот подозрительный блеск бросился в глаза казарке.

Страх пересилил в ней любопытство. Она сейчас же снялась с воды и полетела назад, к стае. Охотник громко выругал-

ся с досады. Дичь опять ускользнула у него из рук: казарка была вне выстрела.

В ту же минуту сапсан бросился на неё из своей засады.

Он догнал её в несколько секунд и вихрем промчался вплотную над её спиной. Казарке показалось, что её разрезали пополам. Проносясь над ней, сапсан царапнул её острыми когтями своих задних пальцев, — разрезав кожу на спине, как ножами. От боли и ужаса свет померк в глазах у казарки. Падая, она широко раскинула крылья и вытянула шею.

Сапсан уже вернулся и выпустил все когти, чтобы подхватить её ещё в воздухе. В этот миг на берегу блеснул огонь, грохнул оглушительный выстрел. Дробь на излёте забулькала в воду близ птиц. Сапсан взмыл — и быстро исчез вдаль. Казарка безжизненно упала в воду.

Пятясь задом, вылез из скрадка охотник. Он торопливо стащил с себя сапоги, портянки, брюки. Оставшись в одной рубахе, он побежал к морю.

Ледяная вода обожгла ему ноги, но он быстро прошёл по ней сотню шагов, отделявших его от истекавшей кровью казарки.

Когда охотник подошёл к ней, она лежала на воде без движения. Вся спина её была в крови. Охотник схватил казарку за крыло, потащил на берег и бросил её перед заливавшейся радостным лаем собачонкой.

Охота была кончена. Родная стая казарки, отдохавшая на льдине, улетела, вспугнутая выстрелом.

Теперь она была уже далеко впереди на Великом пути.

Глава девятая

— Ну, пёс, стереги добро, а я в лес сбегаяю за хворостом, — говорил охотник дворняжке. — Замёрз в воде-то. Разведём костёр, погреемся.

Натянув сапоги, охотник протянул руку за казаркой, чтобы положить её к ружью, около которого сидела собака.

Тут взгляд его упал на кольцо, белевшее у птицы на лапе.

— Гляди-ка, гусь-то меченый! — удивлённо сказал он, разглядывая кольцо. — А на кольце буквы и цифры проставлены.

— Вот оказия! — прибавил он после минуты раздумья, растерянно глядя на дворняжку. — Как же теперь быть? На деревне узнают, а там и хозяин объявится. Скажет: моего гуся убил, домашнего. Плати, скажет мне за него денежки! Нет, постой, этак не годится! Кольцо я с него сниму и в море заброшу, чтобы, значит, концы в воду. А без кольца-то его и хозяин не признает: как есть дикий гусь. Прошлого года осенью я такого же белолобого здесь у берега из рыбацкой сети вытащил. Хорошую цену за него в Ленинграде дали!

Охотник задумался.

— Спешить некуда! — решил он наконец. — Наперво согреюсь, а там и порешу, как быть. Охотник положил казарку рядом с ружьём и узелком, позвал дворняжку и ещё раз приказал ей хорошенько сторожить добро.

— Да цыц! — прибавил он, уходя. — Не вздумай дичи отведать!

Собака, привыкшая стеречь имущество хозяина, уселась перед вещами.

Узелок соблазнительно пахнул хлебом, а птица — дичинкой. Но тронуть лакомые кусочки нельзя было. Надо было терпеливо ждать, пока вернётся хозяин. Он не забудет её покормить: он сегодня весёлый. Ей, верно, достанется хороший кус.

Дворняжка даже зажмурилась от удовольствия в предчувствии награды за терпение. Раздался шорох, с того места, где лежали вещи. Дворняжка открыла глаза и остолбенела от изумления: в трёх шагах от неё стояла ожившая казарка.

Один миг птица и собака безмолвно смотрели друг на друга. Потом дворняжка тьякнула и храбро бросилась на казарку. Защищаясь, казарка ударила собаку сгибом крыла. Удар был так силен и так ловко пришёлся в самый кончик чувствительного носа животного, что дворняжка свалилась с ног.

От неожиданной боли она лишилась сознания. Казарка тоже свалилась на бок, не рассчитав силы своего удара. Но тотчас же поднялась на ноги и быстро заковыляла к воде.

Рана от когтей сапсана не была смертельна. Но, когда казарка увидела подходившего к ней по морю человека, она была так слаба от потери крови, что не могла ни взлететь, ни нырнуть под воду. Ей не оставалось ничего другого, как притвориться мёртвой. К этому спасительному приёму прибегают дикие гуси, когда у них нет другою способа избежать гибели.

Хитрая уловка удалась вполне. Вообразив, что птица уже мертва, охотник не стал её добивать. Силы вернулись к казарке, пока она лежала на песке.

Теперь удачный удар крыла открыл ей путь к свободе. Добежав до берега, она бросилась в воду и скоро исчезла в густой заросли камыша.

Охотник вернулся к скрадку с целой охапкой хвороста.

Собака не поднялась ему навстречу. Он толкнул её ногой, подумав, что она заснула. Маленькая дворняжка неуверенно встала на ноги, постояла, качаясь из стороны в сторону, и вдруг завывала тонко и жалобно.

— Ты чего? — удивился охотник. — Рехнулась, что ли? Тут он взглянул на свои вещи и заметил, что рядом с ружьём не было казарки. Не было её и нигде поблизости на ровном песке.

— А где гусь? — грозно закричал он на собачонку. Но та только виновато замахала хвостом и ещё жалобнее завывала.

— Цыц ты, проклятая! — кричал охотник. — Что воешь, как над покойником? А уж у самого мурашки от страха побежали по телу. Самые дикие мысли полезли ему в голову: «Гусь не простой был, с кольцом... Исчез неведомо как и куда. Собака чуть не сдохла...» Он поспешно схватил ружьё и узелок и быстро зашагал к лесу. Дворняжка, поджав хвост, поплелась за ним.

Притаившаяся в камышах казарка видела, как её враги скрылись за деревьями. С моря до неё донёлся отдалённый призывный крик. Она узнала голос гуся-казанка. Крик повторился ближе. Казарка хотела полететь навстречу казанку, но ослабевшие крылья не подняли её на воздух. Из груди вырвал-

ся крик боли и отчаяния. Силы её были окончательно истощены.

Из-за песчаной косы раздался ответный гогот. Скоро над берегом показался гусь-казанок. Он отстал от стаи, чтобы разыскать свою исчезнувшую подругу.

Он опять закричал звонко и радостно, но ответа не получил.

Сделав широкий круг над камышом, он крикнул ещё и ещё раз.

Ответа всё не было.

Тогда он отлетел в море и там опустил на воду. Он не хотел догонять стаю один, без своей подруги.

Глава десятая

Шли дни за днями. Птицы быстро пролетали Великим морским путём. Сапсан давно улетел на север. Он тоже теперь держался Великого пути и тут никогда не оставался без пищи.

Родная стая казарки уже прибыла к себе на родину. Одной только пары не доставало в табуне. В заливчике за песчаной косой, где эта пара отстала от него, зазеленел камыш. Давно уплыли, растаяли в море последние льдины. 'Берег покрылся свежей травой, деревья на берегу окутались лёгким зеленоватым туманцем.

Заливчик служил прибежищем для отдыха многочисленных пролётных птиц. Тут, словно в гостеприимной харчевне на краю большой дороги, усталые воздушные путники отдыхали и подкрепляли свои силы едой.

Пролетели последние стаи лебедей и гусей. Утки тоже редко стали показываться в заливчике. Теперь на смену им в морскую харчевню всё чаще начали заглядывать другие гости: прилетали длинноногие и длинноносые кулики.

Они тянулись над берегом моря. Полет их часто прерывался остановками в таких обильных пищах и безопасных убежищах.

Но в этом заливчике они долго не задерживались. На то была своя причина. Большой морской орёл-белохвост каждое утро показывался здесь из лесу. Редко-редко взмахивая крыльями, он спокойно проплывал в вышине над заливчиком, удаляясь в открытое море.

Там, на большой глубине, белохвост ловил крупную рыбу. Птиц он редко трогал. Однако все морские птицы хорошо знали, что он не пропустит случая схватить себе на завтрак одну из них, если вовремя не заметит его приближения. Поэтому, едва только белохвост показывался вдали, они разлетались во все стороны.

Поймав рыбу, орёл летел обратно в лес, где у него было гнездо, бросал добычу самке, высиживавшей яйца, и снова отправлялся на море.

Так летал он взад и вперёд одним и тем же путём по нескольку раз в день. И каждый раз при его появлении стаи куликов спешили покинуть заливчик.

Но не один белохвост нарушал их мирный отдых. Часто из заросли камышей неожиданно появлялась большая серая птица. Она шумно бросалась в воду и плыла к берегу. Уже

напуганные орлом длинноносые птицы взлетали с тины, и воздух оглашался их тревожным писком и свистом. Скоро, однако, они узнавали в страшной большой птице мирного белолобого гуся. Их страх проходил, они снова опускались на тину и бегали по ней, покачиваясь всем телом на своих высоких тонких ножках.

Гусь-казанок, против воли пугавший их одним своим видом, принимался плавать по мелкой воде заливчика. Он тоже находил здесь много вкусной пищи. Наевшись досыта, он направлялся обратно в камыши, где ждала его выздоравливавшая от ран казарка. Он разыскал её в камышах к вечеру того дня, когда она спряталась там от охотника и его дворняжки. С тех пор он никуда не удалялся от неё.

Двум таким заметным птицам, как казарка и казанок, было небезопасно жить в камышах. Но одно крыло казарки было повреждено соколом; она всё ещё не могла летать и была очень слаба. Поэтому её верному казанку приходилось делить с ней опасность попасться на глаза белохвосту, когда он пролетал над заливом.

Наконец настал день, когда казарка решила покинуть в сопровождении казанка своё убежище, чтобы покормиться травкой на берегу заливчика.

В этот день там было особенно много разных куликов. Вся тина у берега была испещрена крестиками следов их тонких прямых пальцев.

В траве на берегу важно расхаживали на высоких ногах-ходулях большие серпоклювые кроншнепы. У воды по жёлто-

му песку быстро и незаметно перебежали жёлтоватые зуйки с чёрным галстучком на шее, сидели красноносые и красноногие пёстрые кулики-сороки. По тонкому слою тины, поминутно втыкая в неё до самого лба свои слабые клювики, хлопотливо сновали взад и вперёд лёгкие кулички-воробьи и чёрнозобики.

Но гуси недолго оставались в их обществе. Как только казарка насытилась, казанок поплыл к берегу. Он поминутно оглядывался на свою подругу и звал её за собой тихим гоготанием. Казарка поплыла за ним. Скоро оба вылезли на берег, прошли по нему отделявшее их от леса расстояние и скрылись за деревьями.

С этого дня гуси не показывались больше в заливчике.

Перелёт на Великом морском пути кончался.

Кулики пролетали всё более малочисленными стайками и, наконец, совсем перестали показываться на берегу.

Последним прибыл в заливчик коростель.

Коростель не любит летать. Да ему и незачем подниматься на крылья и подвергать себя опасности в воздухе. Он умеет быстро бегать, ловко скрываться.

Его тело сильно сжато с боков, ноги далеко отставлены назад, и это помогает коростелю проскальзывать между стеблями травы, не задевая их. Величиной он с перепёлку.

Зимовал коростель в Африке. Прошло много времени пока от места своей зимовки он добрался до Финского залива. И в путь он отправился поздно. Другие птицы зимовавшие в тех краях, давно уже собрались в дорогу. Утки, гуси, кулики

стая за стайей пролетали у него над головой. Но коростель не спешил: у него на родине ещё не пробилась молодая трава, и ему пока негде было там скрываться от зорких глаз хищников.

Но вот отлетели последние стаи куликов. Ночью двинулся в путь коростель. Шёл он пешком. Через несколько дней дорогу ему пересекла широкая гладь Гибралтарского пролива. Но это не могло смутить путешественника. Под покровом темноты он быстро перелетел воду и, опустившись на другом берегу, без передышки продолжал свой путь.

Шёл он к себе на родину самой прямой дорогой, известной только ему одному. Впереди него морским путём летели утки, лебеди и гуси, чайки и гагары; стаи куликов придерживались берега.

А коростель шагал и шагал в одиночестве по земле напрямик, прибегая к помощи крыльев лишь там, где это было ему необходимо.

Шёл он очень быстро. Ради безопасности он днём отдыхал и кормился, а по ночам под прикрытием темноты, травы и кустов бежал вперёд.

Был уже конец мая, когда он добежал до заросшего камышом заливчика, недавно служившего убежищем казарке.

Ночь убывала.

Пора было усталому пешеходу подумать об отдыхе в безопасном месте.

В открытом заливе ему нечего было делать. Коростель отправился искать себе приют в полях за лесом.

Миновав околицу деревни, где жил охотник, дважды ловивший казарку, он побежал по озимым, выбирая места, где уже подросший хлеб был погуще.

Вдруг он выскочил на открытое место среди поля. Молодые всходы были тут примяты и выщипаны парой белолобых гусей. Гуси не заметили его внезапного появления. Он сейчас же юркнул обратно в траву и стал в ней устраиваться на ночлег.

Через несколько минут он увидел, как гуси поднялись с поля и, забирая всё выше и выше, полетели на север.

Это были казарка и гусь-казанок.

Казанок привёл сюда свою подругу из заливчика, и они жили здесь последние дни. Хороший корм быстро восстановил силы казарки. Больная спина и крыло её совсем зажили. Теперь дружная пара могла решиться пролететь вдвоём оставшуюся до их родины часть Великого пути.

Заключение

Прошло полгода с тех пор, как Миша расстался с казаркой. На улицах Витебска лежал снег. И опять Мише вспомнилась казарка такой, какой она встретила его с отцом, когда они пришли освободить её. Он видел перед собой ярко-белый полумесяц у неё на лбу, блестящий взгляд и настороженно-воинственную позу. И опять ему подумалось: «Неужели она не долетела к себе на родину?»

В прихожей позвонили. Мишин отец прошёл из своей комнаты отворить дверь. Через минуту он позвал сына к себе в кабинет.

— Читай вслух, — сказал отец и протянул Мише только что полученное письмо. Миша разорвал конверт, развернул сложенный вчетверо лист почтовой бумаги и прочёл:

«Орнитологический комитет. 22 октября 19... года.

Считаем своим приятным долгом поделиться с Вами только что полученными нами сведениями об интересующей Вас белолобой казарке, отмеченной Вами кольцом No 109, серия «С».

Сельский учитель села Прибрежного, расположенного на восточном берегу Белого моря, в 50 километрах от города Архангельска, любезно сообщает нам следующие свои любопытные наблюдения.

В начале истекшего лета он бродил по берегу моря со своей охотничьей собакой. Собака у него на глазах подняла из травы коростеля. Никогда прежде учитель не встречал эту редкую в тех краях птицу. Увидев, что коростель, едва взлетев над травой, сейчас же снова опустился в неё, учитель задался целью выгнать оттуда птицу с помощью собаки. Но коростель, по своему обыкновению, стал спасаться пешком.

После долгого безрезультатного преследования собака, бежавшая по следам коростеля, привела учителя к голой скале на берегу моря. Со скалы бросился на собаку сапсан, а коростель, воспользовавшись её замешательством при этом, куда-то ускользнул. Удивленный неожиданным появлением яростно кидавшегося на собаку сокола, учитель осмотрел скалу

и заметил в ней гнездо сапсана на высоте всего метров четырёх над землёй. Подойти к гнезду он не решился, потому что смелый хищник готов был, казалось, вцепиться в лицо человеку своими страшными когтями. Учитель хотел было отойти, как вдруг у себя под ногами увидел сидящую на гнезде белолобую казарку. Быстро скинув с себя куртку, он набросил её на голову птице. Таким образом ему удалось поймать казарку. С нею в руках он благополучно покинул опасное место. На ноге казарки учитель обнаружил надетое Вами кольцо. Записав его номер, он выпустил птицу на свободу.

Потом учитель часто приходил наблюдать за казаркой издали, пока она не вывела птенцов и не удалилась с ними из-под скалы в ближайшее болото.

Учёные не раз находили гнёзда казарок рядом с гнёздами сапсанов. Под охраной смелых соколов казарки чувствовали себя к безопасности от врагов. Однако для науки до сих пор остаётся загадкой, почему эти свирепые хищники не трогают в течение всего времени вывода птенцов своих доверчивых, но беззащитных соседей. Во всяком случае. Ваша казарка в этом году благополучно вывела птенцов. Будем надеяться, что когда-нибудь она снова попадёт в руки людям, и тот, кто её поймает, расскажет нам о её дальнейшей судьбе.

За председателя.....»

Подписи Миша не разобрал.

1923 г.

БИАНКИ В.В. НЕСЛЫШИМКА

(рассказ старого учёного)

ИЗ АНКЕТЫ:

Вопрос: Сильно выраженные духовные особенности, сказавшиеся в научном успехе? Ответ: Настойчивость и большая любознательность в отношении фактов и их значения. Некоторая склонность к новому и чудесному.

Чарлз Дарвин

Раз уж зашла речь о тишине, позвольте и мне, старику, рассказать о ней кой-что. Конфузная для меня вышла история, надо признаться. Курьёзный казус. И, главное, кто сконфузил-то меня — учёного, старого специалиста? Собственная внучка, ребёнок. А всё потому, что мы... Ну, да об этом после. Доложу вам по порядку.

Четвёртое лето уже мы проводили в одной деревне Мошенского района Новгородской области. Я — орнитолог и, конечно, в такой срок детально изучил весь видовой состав гнездящихся в окрестностях птиц. Написал даже о них небольшую работу и как раз в эту весну сдал в печать, считая её вполне законченной.

Приехали мы тот год в деревню в конце мая. Внучка нередко сопровождала меня на прогулках. Она у меня лес и животных всяких очень любит. Ну, а я, конечно, исподволь и занимался с нею тем, что называю «включением слуха и зрения на птицу в природе».

Все мы, знаете, не видим и не слышим очень много из того, что нас окружает. А когда человек специализируется на чем-нибудь, он прежде всего начинает замечать то, что относится к его специальности. Так, штурман — водитель кораблей — очень внимательно смотрит на звёзды и, так сказать, «читает» их, потому что привык ориентироваться по ним. Лётчик слушает и тонко понимает шум мотора, который нас часто только раздражает, когда мы слышим его у себя над головой. А художник в свете и цвете видит такое, что совершенно ускользает от нашего поверхностного взгляда и даже кажется нам неправдоподобным, будучи изображено кистью на полотне или на бумаге.

Орнитолог, конечно, видит и слышит везде прежде всего птиц. Я вот, например, могу идти с вами и разговаривать, хоть в лесу, хоть в городе, — вы ничего не заметите, а я про себя невольно отмечаю: вот синица пискнула, мелькнули в чаще голубые перья на крыле сойки или крикнул, пролетая над крышами, грач.

Я обращал внимание внучки на птиц, на их крик, песни, полёт. Она у меня уже хорошо различала по голосам десятка два певчих птиц. Но, конечно, с её крошечным опытом не могла ещё знать всех встречавшихся нам птиц, как знал их я. Поэтому меня очень насмешило, когда раз в самом начале лета она прибегает из лесу и говорит:

— Дедушка, а ты знаешь птичку-неслышимку? Ты почему мне её никогда не показывал?

— Постой, постой, — говорю. — Что это ещё за неслышимка? Опять сама придумала, вроде Зумзика и Момика?

Она у нас фантазёрка. Недавно её мать рассказывала: играет девчурка одна в саду, а всё, слышно, с кем-то разговаривает — то с каким-то Момиком, то с каким-то Зумзиком. Мать спросила её, с кем это она. Девчурка только рукой махнула: «Ты не понимаешь! Такие у меня живут здесь — Момик и Зумзик. Мне с ними весело».

И сколько ни спрашивала мать, так и не могла добиться, что это у неё за невидимки такие — не то человечки, не то зверюшки какие-то фантастические.

На мои слова внучка даже рассердилась:

— Ничего я, — говорит, — не сама придумала! Просто глазами видела. Сидит такая горбатенькая птичка на дереве, на верхней ветке, сама ротик разевает, и горлышко у неё трепещет, а всё равно ничего не слышно, никакой песенки.

Я уж, чтобы не обидеть девчурку, сделал вид, что поверил ей. Спрашиваю:

— Где же это ты видела её?

— На ручье, на пожне у самой опушки леса. Знаешь, где ты всегда покурить на пенёк садишься, когда мы из лесу выходим?

— Интересно, — говорю, — В следующий раз пойдём, ты мне её покажи.

— А она не улетит?

— Нет, ведь сейчас все птицы при гнёздах. Раз тут поёт, тут и будет.

В лес я пошёл на следующий же день. О фантастической «неслышимке», конечно, забыл уже. А внучки со мной не было: она пошла с матерью в другое место — нарвать букет купальниц. Уже я возвращался домой, когда мой слух поразила неожиданно наступившая в лесу тишина: одна за другой перестали петь птицы. Через две — три минуты я понял причину: вдруг потемнело, налетел сильный, шквал, и почти сейчас же хлынул дождь.

Как это часто бывает в начале лета, он продолжался всего несколько минут. Но шуму наделал много. Когда я вышел из лесу на пожню — так здесь называют заливные луга, — я был поражён контрастом между полной тишиной этого открытого места и шумом леса. Шум позади меня и тишина впереди были сами по себе, и чёткой границей между ними стояла стена леса.

Птицы ещё не начали петь ни на пожне, ни в лесу, ветер ещё не улёгся, мотал ветви деревьев и сбрасывал с них обильные брызги; они падали на нижние ветви, с ветвей — на землю. Одним словом, в лесу была бурная звонкая капель; казалось, там всё ещё шёл дождь. А на пожне капель не могла быть заметна, потому что тут росли только отдельные деревья, открытые ветру, и ветер уже стряхнул с них последние капли дождя.

По своему обычаю, я сел недалеко от ручья на пенёк — выкурить папиросу. И при этом, конечно, вслушивался в тишину.

Тишина бывает разная. Тишину этого освежённого ливнем луга никак, разумеется, нельзя было назвать «мёртвой» тишиной. Как почти всегда в природе — днём ли, ночью ли, — тишина вся наполнилась незаметными нашему слуху маленькими звуками. Она, можно даже сказать, вся состояла из этих почти неуловимых звуков: лёгкого шелеста травы, шороха пробегающих в кочках мышей — шум, доступный разве только ушам совы, — звона падения с листьев отдельных капель, тихого пения ручейка. Я даже явственно различал где-то слева от себя стрекотание кузнечиков. Однако и этот звук — наиболее определённый из всех других — нисколько не нарушал тишины, как нарушила бы её звонкая песня зяблика, или скрип телеги, или крик человека. Он был лишь фоном, аккомпанементом в этом, если позволительно так выразиться, богатейшем немом оркестре луга.

Мне даже взгрустнулось немножко. О том думалось, что вот я уже старик. Сижу тут и вслушиваюсь в эту прекрасную тишину. И всю её, так сказать, насквозь умом понимаю. Запой сейчас любая птица, пискни в траве — тонко, как ножом по стеклу, — землеройка, я и эти все звуки узнаю, объясню себе. А вот для ребёнка сколько тут неизвестного, сколько всяких чудес! Пригрелись же моей внучке и Момик, и Зумзик, и эта смешная «неслышимка». И хорошо ей, девчурке, весело с ними, и сейчас, вот сейчас может случиться с ней и вокруг неё что-то совсем удивительное, настоящее диво.

Замечательное это ощущение, прекрасное состояние души. И, право, досадно, если оно глохнет у человека с возрас-

том, с личным жизненным опытом и усвоением науки — итога жизненного опыта, знаний всего человечества. Нет, знание никогда не должно убивать в человеке веру в то, что сегодня кажется нам тайной, дивом, а завтра будет всеми признано и объяснено! Не помню, как дальше скакнули, разбежались и вдруг опять соединились мои мысли, так спокойно тянувшиеся до этого момента.

Помню только — на опушке дробно, громко затрепал испуганный чем-то певчий дрозд. Беспokoясь, дрозда всегда так отчаянно кричат, точно их уже схватили за хвост. Протрепал и смолк. И от этого сильного звука ещё тише показалось на поже. И ещё отчётливей в тишине зазвучал оркестрик кузнечиков — всё где-то слева от меня.

И тут вдруг пришло мне в голову: «Но ведь это же абсурд! Какие же кузнечики в самом начале лета, когда ещё цветут купальницы! Кузнечики у нас начинают трещать только в июле». Я так резко повернулся налево, что даже выронил папиросу из рук.

Так всё и было, как рассказывала моя внучка: там, над ручьём, на вершине ольхи сидела горбатенькая птичка. Она разевала клюв, и перья на раздутом горлышке у неё трепетали, а песни не было слышно. Только громко стрекотали кузнечики.

Вероятно, я своим резким движением испугал немного певца: он исчез, камешком свалился с ветки. И в тот же миг оборвалось стрекотание кузнечиков.

Ну, мне-то, конечно, было достаточно и одного этого мгновения, чтобы узнать птичку: и фигурка её горбиком, и ха-

рактернейшая повадка — в случае тревоги камешком падать в траву с того высокого места, где она сидит, распевая, — и, разумеется, самая её эта оригинальная песенка, трель, почти неотличимая от стрекотанья крупных кузнечиков, — всё разом сказало мне, что это был обыкновенный сверчок, камышевка-сверчок.

Скажете — пустяки? Нет, совсем не пустяки! Вы только подумайте: три года слушал я тут птиц, написал, казалось мне, исчерпывающую работу о них, а вот эту птичку как-то совсем упустил из виду. Не ждал — уж не помню, по каким тогда своим соображениям, — не ожидал её тут встретить. И много раз, конечно, слушал с этого же самого пенёчка её песню — и не слышал. Невдомёк мне было. А как услышал вот тут в первый раз её, так и в других местах кругом стал слышать сверчков: их оказалось в окрестностях нашей деревни немало.

Пришлось спешно взять из печати мою работу и дополнить её ещё одним гнездящимся видом. Нет не видим, не слышим ведь мы того, о чем не думаем! Очень многого не слышим. И спасибо внучке, что мне помогла. Я ей включал слух на известное. А она мне включила слух на неизвестное и, казалось мне, немислимое: на какую-то «неслышимку».

И правда оказалась на её стороне, на стороне ребёнка.
1946 г.

БОРИС ЖИТКОВ. ПРО ВОЛКА

Дикий зверь

У меня был приятель, охотник. И вот раз собрался он на охоту и спрашивает меня:

— Чего тебе привезти? Говори — привезу.

Я подумал: «Ишь, хвастает! Придумаю похитрей чего-нибудь», и сказал:

— Привези мне живого волка. Вот что!

Приятель задумался и сказал, глядя в пол:

— Ладно.

А я подумал: «То-то! Как я тебя срезал! Не хвастай!».

Прошло два года. Я и забыл про этот наш разговор. И вот раз прихожу домой, а мне в прихожей уж говорят:

— Тебе там волка принесли. Какой-то человек приходил, тебя спрашивал. «Он волка, — говорит, — просил, так вот передайте». А сам к двери.

Я, шапки не снимая, кричу:

— Где, где он? Где волк?

— У тебя в комнате заперт.

Я был молодой, и мне стыдно казалось спрашивать, как он там сидит: связанный или просто на верёвке. Подумают, что трушу. А сам думаю: «Может быть, он ходит по комнате, как хочет, — на свободе?»

А трусить я стыдился. Набрал воздуха в грудь и вбежал в свою комнату. Я думал: «Сразу-то он не бросится на меня, а потом... потом уж как-нибудь...» Но сердце сильно билось. Быстрыми глазами я оглядел комнату — никакого волка. Я уж обозлился — надули, значит, пошутили, — как вдруг услышал, что под стулом что-то ворочается. Я осторожно пригнулся, поглядел с опаской и увидел головастого щенка.

Говорю вот — увидел щенка, но сразу же было видно, что это не собачий щенок. Я понял, что волчонок, и страшно обрадовался: приручу, и будет у меня ручной волк.

Не надул охотник, молодец! Привёз мне живого волка.

Я осторожно подошёл. Волчонок стал на все четыре лапы и насторожился. Я его разглядел: какой он был урод! Он почти весь состоял из головы — как будто морда на четырёх ножках, и морда эта вся состояла из пасти, а пасть — из зубов. Он на меня оскалится, и я увидал, что у него полон рот белых и острых, как гвозди, зубов. Тело было маленькое, с редкой бурой шерстью, как щетина, и сзади крысиный хвостик.

«Ведь волки серые... А потом, щенята всегда бывают хорошенькие, а это дрянь какая-то: одна голова да хвостик. Может быть, и не волчонок вовсе, а просто для смеха что-нибудь. Надул охотник, оттого и удрал сразу».

Я смотрел на щенка, а он пятился под кровать. Но в это время вошла моя мать, присела у кровати и позвала:

— Волченька! Волченька!

Смотрю — волчонок выполз, а мать подхватила его на руки и гладит — чудище этакое! Она его, оказывается, уже два раза поила с блюдца молоком, и он сразу её полюбил. Пахло от него едким звериным запахом. Он чмокал и совался мордочкой маме под мышку. Мать говорит:

— Если хочешь держать, так надо его мыть, а то вонь будет от него на весь дом.

И понесла его в кухню. Когда я вышел в столовую, все смеялись, что я таким героем ринулся в комнату, будто там страшный зверь, а там — щенок. В кухне мать мыла волчонка зелёным мылом, тёплой водой, а он смиренно стоял в корыте и лизал ей руки.

Как я учил волка «тубо»

Я решил, что сызмальства надо начать волчонка учить, а то, как вырастет большой зверь, с ним уж тогда ничего не поделаешь. Вот он ещё маленький, а зубищи уже какие во рту! А вырастет — держись тогда.

Первое, думал я, надо научить его «тубо». Это значит — «не тронь». Чтоб как крикну «тубо», так чтоб он даже изо рта выпустил, что схватил.

И вот я взял волчонка в свою комнату, принёс плошку с молоком и хлебом, поставил на пол. Волчонок потянул носом, учуял молоко и заковылял на лапках к плошке. Только он сунул мордочку в молоко, я как крикну:

— Тубо!

А он хоть бы что: чавкает и урчит от радости. Я опять:

— Тубо! — И дёрнул его назад. И вот тут он сразу как рывкнет на меня, голову повернул, зубами щёлкнул — как молнией ударил. И так по-лесному, по-звериному вышло у него, что меня на один миг жуть взяла. Я от взрослой собаки такого не слышал, вот оно что значит волк-то!

Ну, думаю, если он с малых лет так, то что же потом-то? Не подойти тогда уж, прямо съест. Нет, думаю, надо его страхом взять, пусть он привыкнет бояться моей руки.

Я снова крикнул: «Тубо!» — и стукнул кулаком волчонка по голове. Он ударился челюстью о плошку и взвизгнул совсем по-ребячьи. Но он не мог оторваться от молока, облизнулся и снова в плошку.

Я крикнул не своим голосом:

— Тубо, дрянь этакая! — И опять ударил кулаком.

Волчонок отскочил от плошки и заковылял на тонких лапках вдоль стенки. Бежал и тряс от боли головой. С мордочки текло молоко, и он выл обиженно.

Обежал по стенке всю комнату, и ноги сами понесли его к молоку.

Хоть мне было стыдно, что я ударил так сильно такого маленького, но я все же решил настоять на своём.

Как только волчонок начал есть, я снова крикнул: «Тубо!» Он наспех огрызнулся и залакал скорее. Я стукнул его кулаком. Он завыл, бросился, и я не успел его схватить, как он уж отворил мордой дверь и стремглав побежал вон. Он побежал к матери, сунул ей в юбку мокрую морду и заскулил громким голосом на всю квартиру.

Все сбежались, стали гладить волка, а меня ругали, что я мучаю такого маленького.

Маме он всю юбку запачкал молоком и заслюнявил.

Потом целый день бегал за матерью, а меня так все ругали, что я пошёл гулять.

Я на всех дома обиделся. Я думал: «Им хорошо говорить: „Волченька, миленький да бедненький“, а вот когда вырастет зверище-волчище с громадными зубами, тогда все в доме начнут кричать: „Гляди, что волчище наделал! Твой волк, девай его куда хочешь!“ Тогда все на меня будут валить. „Завёл, — скажут, — зверя в доме, теперь и расхлёбывай“». И я решил, что уеду из дому, найму себе маленькую квартирку и буду там жить со своей собакой, с кошкой и с волком.

Я так и сделал: нашёл комнату с кухней, нанял и переехал с моими зверями на новую квартиру. Надо мной дома смеялись:

— Скажите, Дуров [1]какой у нас завёлся! Со зверями будет жить.

А я думал: «Дуров не Дуров, а волк ручной у меня будет».

Собачка у меня была рыженькая, маленькая. Она была потайного и ехидного характера. Звали её Плишка. Плишка была чуть побольше волчонка. Волчонок, как её увидел, побежал к ней, хотел поиграть, повозиться. А Плишка оцетинилась, оскалилась, как огрызнётся:

— Рраф!

Волчонок испугался, обиделся и побежал искать мою мать, но я уже жил один. Он скулил, бегал по комнате, искал в кухне и прибежал наконец ко мне. Я его приласкал, посадил рядом с собой на кровать и позвал Плишку.

«Дай, — думаю, — я вас примирю». Я заставил Плишку лечь рядом с волчонком. Плишка все время подымала губу, показывала зубы и шёпотом ворчала: ей, видно, противно было лежать рядом с волчонком. А он пробовал её нюхать, даже лизнул. Плишка дрожала от злости, но куснуть волчонка при мне не смела. «Ну, — думаю, — как же я их одних-то дома оставлю, как пойду на работу? Заест волчонка Плишка, закусает». И я решил взять утром Плишку с собой. Она была очень муштрованная, [2]и утром на службе я повесил на вешалку пальто, а Плишке сказал, чтоб стерегла и не сходила с места.

Когда мы с Плишкой вернулись домой, то волчонок так обрадовался Плишке, что бросился к ней со всех своих кривых ножек и с разбегу сбил собаку и навалился на неё. Плишка пружиной вскочила, и я крикнуть не успел — она цап волчонка за ухо. Ну, тут вышло не то: волчонок как рывкнет и так ляскнул зубами — быстро, как молния, — что Плишка кубарем в угол, прижалась и, рот раскрыв, рычала испуганным хрипом.

Кошка Манефа важно вошла в двери посмотреть, что за скандал. Волчонок тряс большим ухом и бегал по комнате, на все натыкался крепким лбом. Манефа на всякий случай вскочила на табурет. Я боялся, что ей придёт в голову сверху цапнуть волчонка. Нет, Манефа уселась поудобней и только следила глазами, как метался волчонок.

Я принёс с собой овсянки и костей для волка и отдал дворничихе Аннушке сварить.

Когда она принесла горячий котелок, то сейчас же заметила волчонка:

— Что это собака какая безобразная? — И присела на корточки. — Это какая же порода будет?

Я не хотел, чтоб в доме знали, что есть волк, и думал, что бы такое соврать, как тут Аннушка пригляделась и говорит:

— Уж не волчонок ли? Да верно ведь, волчонок. Ах, бедный ты мой! — Смотрю — уж гладит его. Я сказал:

— Аннушка, пожалуйста, никому не надо говорить. Я хочу вырастить, пусть ручной будет.

— Да мне зачем же рассказывать? — говорит Аннушка. — А только, знаете, говорится: сколько волка ни корми, он все в лес глядит.

Все же я договорился с Аннушкой, что она будет у меня прибирать и варить, а волку варить варево из овсянки с костями каждый день.

Я дал всем зверям есть, каждому в своём углу каждому из своей кормушки. Волчонок чавкал своей овсянкой, а Плишка своё быстро съела и оглянулась на меня. Я в зеркало следил за ней, а она этого не понимала и думала, что я сзади ничего не увижу. И вот я вижу в зеркале, как она по стенке тихонько крадёт к волку. Ещё раз оглянулась — и дальше. Оскалилась всем ртом, глазищи злые и надвигается шаг за шагом.

«Ну, — думаю, — залезь ты ему в кормушку, вытяну я тебя ремнём, будешь знать. Все вижу, голубушка».

Но вышло иначе. Только Плишка сунула морду к кормушке, волк — врык! — и лякнул зубами, да не мимо, а прямо Плишку за морду. Она отскочила с визгом, и тут ей сделался прямо-таки припадок: она носилась по комнате, по кухне, кидалась в прихожую и так отчаянно выла, будто на ней вся шерсть огнём горит. Я её звал, но она делала вид, что не слышит, и только визжала ещё пронзительней. А волчонок чавкал в своей плошке. Я ему подлил туда молока, и он спешил, лакал, только дух успевал переводить. Я выгнал Плишку на двор и во дворе слышал, как она пробовала скандалить.

Все соседи думали, что я нечаянно ошпарил собаку кипятком.

А волка я каждый день учил «тубо». И теперь дело двинулось вперёд. Только я крикну: «Тубо!», волчонок стремглав бежал прочь от кормушки.

Собаки скандалят

Я каждый вечер ходил со зверями на прогулку. Плишка была приучена бежать рядом с правой ногой, а Манефа сидела у меня на плече. Улицы были около моей квартиры пустынные и, правду сказать, места воровские — народу попадалось мало, и некому было пальцем показывать, что вот идёт взрослый мужчина с кошкой на плече. И вот я решил теперь гулять вчетвером — взять с собой волка. Я купил ему ошейник, цепочку и пошёл вечером по улице. Волчонок ковылял с левой стороны, но его приходилось подёргивать за цепочку, чтоб он шёл ря-

дом. Думал, нас никто не заметит. Но вышло не так. Нас заметили и подняли скандал. Только не люди, а собаки.

Первой попалась маленькая собачонка, Плишкина знакомая. Она разбежалась было к нам, но вдруг насторожилась, зафыркала и стала красться за волчком, нюхать след.

Потом бросилась в свои ворота и оттуда таким залилась тревожным лаем, что во всех дворах отозвались собаки. Я никогда и не думал, что столько собак на нашей улице. Собаки стали выскакивать из ворот, встревоженные, оцетинились и со злым испугом издали надвигались на волка. А он жался к моей ноге и вертел своей лобастой мордой.

Я уж думал: не взять ли мне волчонка на руки да не повернуть ли домой, пока собаки не бросились на него? Из ворот уж стали высовываться люди, глядеть, что случилось. Плишка снизу заглядывала мне в лицо: что же, дескать, делать? Какой, значит, переполох из-за этого чучела мордатого! Но я уж не боялся: собаки ближе трёх шагов не решались подойти к волчонку. Каждая провожала нас лаем до своего дома и пятилась за дом в свои ворота.

Успокоился и волк. Он уже не вертел головой, а только не отставал и бежал, плотно держась у моей ноги.

— Что, — сказал я Плишке, — наша взяла?

Мы вышли на людные улицы, где собак не было, а когда возвращались, уже все ворота были на запоре и собак на улице не было. Но Волчик очень радовался, когда пришёл домой. Он стал возиться, как щенок, повалил Плишку, валял её по полу, а она терпела и не смела при мне огрызаться.

Вырастает

А на другой день, когда я возвращался, я увидел на дворе Аннушку. Она в лоханке стирала белье, а около неё, свернувшись клубочком, грелся на солнце волчонок.

— Я его на солнышко взяла, — говорит Аннушка. — Уж что, в самом деле, и свету животное не видит!

Я позвал:

— Волчик! Волчик!

Он нехотя встал, расставил ноги, как поломанная кровать, и стал потягиваться, совсем как собака. Потом вильнул своим верёвочным хвостиком и побежал ко мне.

Я так обрадовался, что он идёт на зов, что сейчас же без всякого «тубо» скормил ему сдобную булку. Я хотел уже взять его в комнату, но тут Аннушка говорит:

— Как раз стирать кончила, а вода осталась. Давайте-ка я и его. А то дух от него уж очень волчий.

Подхватила его под мышку и поставила в лохань. Она его мыла, как хотела, и он стоял, смешной, весь в белой пене. Он даже ни разу не зарычал на дворничиху, когда она его обдавала тёплой водой начисто. Он был чистый, шерсть стала блестеть, и я не заметил, как уж хвост у волчонка из голой верёвки стал пушистым, сам он стал сереть и обратился в хорошенькую, весёлую собачку.

Бой с Манефой

И вот раз кормил я моих зверей, и Манефа, сидя на табурете, доедала рыбёшку. Волчонок кончил своё и полез к кошке.

Он стал лапками на табурет и потянулся мордой к рыбе. Я не успел крикнуть «тубо», как Манефа зашипела, хвост веником и — раз! раз! — надавала волку по морде. Он завизжал, присел и вдруг бросился уж настоящим зверем на кошку. Все это было в одну секунду: волк опрокинул табурет, но кошка подпрыгнула на всех четырех лапах и успела рвануть его когтями по носу — я боялся, чтоб не выцарапала глаза. Я крикнул: «Тубо!» — и бросился к волку. Но он уж сам бежал ко мне, а кошка наскакивала сзади и старалась процарапать сквозь шерсть. Я стал гладить и успокаивать волчонка. Глаза были целы.

Оказался порядочный шрам на носу. Шла кровь, и волчонок лизывал языком больное место. Плишка во время боя скрылась. Я с трудом вызвал её из-под кровати.

Вечером волк лежал на подстилке. Манефа — хвост трубой — королевой разгуливала по комнате. Когда проходила мимо волка, он рычал, но она и головы не поворачивала, а спокойно тёрлась о мою ногу и мурлыкала на сытое брюхо.

«Особой породы»

В доме уж все считали, что у меня две собаки. И когда спрашивали про Волчика, я говорил, что это овчарка — мне подарили — особой породы.

Но вот раз ночью я проснулся от странного звука. Мне спросонья показалось сначала, что пьяный ревет за окном. Но потом разобрал я, в чем дело. Волк. Волк завыл.

Я зажёл свечку. Он сидел среди комнаты, подняв к потолку морду. Он не оглянулся на свет, а выводил ноту, и такую лесную звериную тоску выводил он голосом на весь дом, что делалось жутко.

Вот тебе и «овчарка особой породы». Этак он весь дом перебудит, и уж тут не скроешь, что волк. Пойдут охи, ахи: «Волк во дворе». Все хозяйки заскандалят и выгонят меня завтра же вон из дому с моими кошками и овчарками. Наверху барыня-генеральша живёт, злая и вздорная. «Помилуйте, — скажет, — живёшь, как в лесу, всю ночь волки воют. Благодарю покорно». Это я всё знал наверное, и надо было сейчас же прекратить этот вой.

Я вскочил, присел к волку, стал гладить, но он глянул на меня и снова запрокинул голову.

Я дёрнул его за ошейник и повалил на пол. Он как будто опомнился, встал, встряхнулся, зазвонил пряжками. Я побежал в кухню и достал толстую кость из супа. Волк улёгся на подстилке и стал грызть.

Грыз он своими белыми зубами большие воловьи кости, как сухари. Только хрустело.

Я потушил свечу, стал было засыпать — как дёрнет мой волк ноту, крепче прежнего. Я быстро оделся и вытащил волка на двор. Я стал с ним играть, бегать по двору. И я заметил тут, ночью, что, не зная, я принял бы его за порядочного дворового пса. И вот никто не замечал: пёс мой не лаял. Беда, если узнают, что он по ночам воет!

Теперь мне ночью не стало покоя. Я по часу, бывало, сидел и уговаривал волка, я его занимал, совал ему кости, чтоб как-нибудь он забыл про вой. Я за ним ухаживал, как за больным, у которого бывают припадки. Недели через две он бросил выть. Но за это время мы с ним сдружились. Когда я возвращался домой, он ставил мне на плечи лапы, и я чувствовал, какие они крепкие у него, — как железные палки. Я с ним гулял днём, и все смотрели на большую собаку с особенной походкой. Когда он бежал, он легко пружинил задними ногами; он умел смотреть назад, совсем свернув голову к хвосту, и бежать в то же время прямо вперёд.

Узнали

Он был совсем ручной, и знакомые, когда приходили, гладили его и трепали по спине, как простую собаку.

И вот раз сижу я в парке на скамейке. Меж коленями у меня уселся на земле волк и дышит жарким духом, свесив длинный язык через зубы.

Маленькие дети играли в песке, а няньки на скамейке лугали семечки. Ребята стали подходить ко мне.

— Какая хорошая собака! Пушистая и язык красный. Не кусается?

— Нет, — говорю, — она смиренная.

— Можно немножко погладить?

Я сказал волку «тубо». Он уж это хорошо знал, и дети, кто посмелее, стали осторожно гладить.

Я гладил заодно с ними, чтоб волк знал, что и моя рука тут. Няньки подходили, спрашивали:

— Не укусит?

Вдруг одна нянька подошла, глянет — да как заохает:

— Ой, матушки, волк!

Дети взвизгнули, прыгнули, как цыплята. Волк так перепугался, что волчком повернулся на месте, запрятал мне между колен свою морду и прижал уши.

Когда все немного успокоились, я сказал:

— Сами волка напугали. Видите, какой он смиренный.

Но уж куда там! Няньки ребят за руку прочь тянут и оглядываться не велят. Только два мальчика, что без нянек были, подошли ко мне, стали на метр и говорят:

— Верно — волк?

— Верно, — говорю.

— Настоящий?

— Настоящий.

— Ага, — говорят, — то-то ты его себе к руке и привязал. Ну, дай ещё погладить, настоящего-то.

Это было действительно так, я цепь от волка привязывал ремнём к левой руке: в случае дёрнется или бросится, уже от меня он не оторвётся. Пусть я даже упаду с ног — всё равно не уйдёт.

Прозевал

Аннушка так приучила волка, что он за ворота один ни за что. Подойдёт к калитке, глядит на улицу, носом воздух тянет,

нюхает, рычит на проходящих собак, но за порог лапой не переступает. Может быть, сам он боялся один выскакивать.

Вот я раз вернулся домой. Аннушка сидела во дворе, шила на солнышке под окном, а волк у ней в ногах клубком лежал — серая большая животиная. Я окликнул; волк вскочил ко мне. И тут я вспомнил, что не купил папирос. А разносчик стоял в десяти шагах от ворот с лотком. Я выскочил из ворот; волк — за мной. Беру у разносчика сдачу и слышу сзади собачий лай, рывканье, склока. Оглянулся — ай, беда! Сидит мой волк, прижался в угол ворот, а две большие собаки набросились, припёрли его, наступают. Волк головой крутит, глазищи горят, и зубы ляскают быстро, как выстрелы: хляст! хляст! Вправо, влево?

Собаки напирают, ищут местечка, где б ухватить, и лай такой стоит, что моего крика не слышно.

Я бросился к волку. Собаки, видно, поняли, что вот человек бежит им на помощь, и одна бросилась на волка.

Мигнуть не успел, как волк рванул её за загривок и швырнул на мостовую. Она покатилась и с визгом пустилась прочь. Другая прыгнула за меня.

Волк ринулся, сбил меня с ног, но я успел ухватить его за ошейник, и он проволоком меня шага два по мостовой. Лоточник с лотком — скорей в сторону. А волк рвётся, я на спине барахтаюсь, но ошейника не отпускаю. Тут выбежала из ворот Аннушка. Она забежала спереди и уткнула волчью морду к себе в колени.

— Пускайте, — кричит, — я уж взяла!

Верно: Аннушка взяла волка за ошейник, и мы вдвоём увели его домой.

Когда я потом вышел за ворота, то увидел кровь.

Кровавая дорожка шла через площадь, куда побежала собака.

Я вспомнил, что на наш скандал собралось смотреть много народу, а из окон высунулись жильцы, и кто-то кричал:

— Бешеная! Бешеная!

Это кричала генеральша, что жила надо мной.

Беда

Я два дня не выпускал волка во двор, только по вечерам водил его на цепочке гулять. На вторую ночь он завыл, и завыл нестерпимо: громко, как труба, и так отчаянно, так тоскливо, будто ревет над покойником. Мне в потолок постучали.

Я выскочил с волком во двор. Я видел, как в окнах надо мной вспыхнул свет, как замелькала тень. Видно, барыня всполошилась. Наутро я слышал, как во дворе она кричала на дворника:

— Безобразие! Где это позволяют держать бешеных собак в доме? Воеет волком по ночам. Всю ночь не спала. Сейчас же заявлю! Сейчас же!

Аннушка принесла овсянку волку вся заплаканная.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Да уж чего хуже — скандалит барыня. В полицию, говорит, заявлю. Так дворника этого, мужа моего, значит, вон из

дому: укрывает бешеных собак, ни за чем, говорит, не смотрит. А он мне — как родной.

— Кто это? — говорю.

— Да Волчик-то. — И присела к нему, гладит. — Кушай, кушай, родименький. Сиротинка моя!

Когда я шёл со службы домой, меня на улице остановил полицейский пристав: [3]

— Простите, это вы волка держите?

Я смотрел на пристава и не знал, что сказать.

— Да ведь я давно знаю, — говорит пристав. Ухмыляется и ус покручивает.

— Там, видите, жалоба поступила, генеральша Чистякова. Но, знаете, вот что вам посоветую: подарите-ка мне вашего зверя, ей-богу. — И пристав просительно улыбнулся. — Ей-богу, подарите. У меня в имении овцы, а стерегут их овчарки. Вот этакие. — И показал почти на метр от земли. — Так вот от вашего волка хорошие детки будут — злые, первый сорт. И он с собаками сдружится, на воле жить будет. А? Право же. А в городе вам одни скандалы с ним будут. Это уж я ручаюсь, что скандалы будут. — И тут пристав нахмурился. — Вот уж одна жалоба есть — имейте в виду. Так как же? По рукам, что ли?

— Нет, — сказал я. — Мне жалко дарить. Я как-нибудь устрою.

— Ну, продайте! — крикнул пристав. — Продайте, черт возьми! Сколько хотите?

— Нет, и не продам, — сказал я и пошёл скорее прочь.

— Так я украду! — крикнул пристав мне вслед. — Слышите: у-кра-ду!

Я махнул рукой и пошёл ещё скорей. Дома я рассказал Аннушке, что говорил пристав.

— Берегите волка, — сказал я.

Аннушка ничего не ответила, только насупилась.

На дворе я столкнулся с генеральшей Чистяковой. Она вдруг загородила мне дорогу. Глядит мне зло в глаза, и нижняя губа трясётся. И вдруг как стукнет зонтиком об землю:

— Скоро ли мы избавимся от опасности?

— От какой? — спрашиваю.

— От собаки от бешеной! — кричит генеральша.

— Вас, видно, мадам, покусала собака, только это не моя. И я пошёл в ворота.

Из плена

Прошло дней пять. Я был на службе. Мне сказали, что меня спрашивает какая-то женщина и чтоб сейчас, немедленно. Я побежал. На лестнице стояла Аннушка.

— Ой, бегите, — говорит, — скорей бегите: волка нашего пристав в участок взял! Там в полиции сидит.

Я схватил шапку. По дороге Аннушка мне сказала, что пристав приказал дворнику отвести волка в полицию и что дворник не посмел послушаться: отвёл и привязал во дворе в полиции.

Когда я открыл калитку в полицейских воротах, то сразу увидел в конце двора гурьбу народа: городовые и пожарные

густой кучей стояли, галдели, вскрикивали. Я быстро пошёл через двор и, уж когда подходил, слышал, как кричали:

— Что, серый, попался?

Я протолкался через толпу. Волк на цепочке был привязан к кольцу. Он сидел на задних лапах, поджал хвост и огрызался на городских.

Волк первый заметил меня. Он дёрнулся, вскочил на задние лапы и натянул цепь. Все отпрянули назад. Я снял цепь с кольца и быстро намотал на руку. Кругом заголосили:

— Куда ты его? Что, он твой?

— А если ты хозяин, так возьми! — крикнул я.

Все расступились. Вдруг кто-то заорал:

— Калитку на запор, скорей!

И один городской [4]побежал бегом к воротам.

— Стой! Волка спущу! — закричал я на весь двор.

Городовой отскочил и стал. А волк меня так тянул, что я едва вприпрыжку поспевал за ним. Мы добежали до калитки, я откинул дверь, волк прыгнул через порог и бросился вправо, домой. Сзади засвистели. Мы были уж за углом. Я слышал, что сзади топали ноги, свистели свистки.

Но я не оглядывался и бежал.

Вот сейчас площадь. Площадь пустая. А вон Аннушка стоит у ворот.

Я бросил цепочку, и волк громадными прыжками стал удирать к дому. Аннушка присела на корточки, и я видел, как она поймала его за шею. Я перевёл дух и оглянулся: двое горо-

довых остановились. Один зло плюнул в землю и махнул рукой.

Совсем конец

Я решил переехать в другой район, где этот пристав не начальник и где уж он ничего не значит.

Я стал подыскивать новую квартиру. Я корил дворника за подлость:

— Зачем же было уводить волка у меня? За что же гадость мне такую делать?

— Да вы, — говорит, — в моё положение войдите. Вам волк — забава, а ведь если я его не приведу, когда велют, это выходит, что с места вон. Я ведь только метлой и могу орудовать. Выгонят — куда пойду? Вы меня, что ли, кормить будете? Разве к вам в волки наняться?

Я уж не знал, что говорить. Ладно, перееду. Я видал пристава через улицу. Он сделал хитрое лицо и лукаво погрозил мне пальцем. А я ему тоже.

Я купил волку намордник. Он сначала срывал его лапами, но всё-таки привык, и теперь, в ошейнике, с намордником, он был совсем как собака. Все свободное время я ходил с волком: мы искали квартиру.

Я уж совсем нашёл, оставалось только переехать.

И вот я раз вернулся домой со службы. В воротах Аннушка в слезах:

— Опять! Опять!

— Что, увели? — И я дёрнулся, чтоб бежать в полицию, но Аннушка ухватила меня за рукав.

— Без дела пойдёте. Увёз, увёз, окаянный, к себе. Сама видела, как на подводу поклали. Связали — и на сено. А коней не удержать.

Я всё-таки побежал в участок. Пристава не было: он уехал к себе в имение. Я узнал: всё было, как сказала Аннушка.

БОРИС ЖИТКОВ. ПРО ОБЕЗЬЯНКУ

Мне было двенадцать лет, и я учился в школе. Раз на перемене подходит ко мне товарищ мой Юхименко и говорит:

— Хочешь, я тебе обезьянку дам?

Я не поверил — думал, он мне сейчас штуку какую-нибудь устроит, так что искры из глаз посыплются, и скажет: вот это и есть «обезьянка». Не таковский я.

— Ладно, — говорю, — знаем.

— Нет, — говорит, — в самом деле. Живую обезьянку. Она хорошая. Её Яшкой зовут. А папа сердится.

— На кого?

— Да на нас с Яшкой. Убирай, говорит, куда знаешь. Я думаю, что к тебе всего лучше.

После уроков пошли мы к нему. Я всё ещё не верил. Неужели, думал, живая обезьянка у меня будет? И всё спрашивал, какая она. А Юхименко говорит:

— Вот увидишь, не бойся, она маленькая.

Действительно, оказалась маленькая. Если на лапки встанет, то не больше полуаршина. Мордочка сморщенная, старушечья, а глазки живые, блестящие.

Шерсть на ней рыжая, а лапки чёрные. Как будто чужьи руки в перчатках чёрных. На ней был надет синий жилет.

Юхименко закричал:

— Яшка, Яшка, иди, что я дам!

И засунул руку в карман. Обезьянка закричала: «Ай! ай!» — и в два прыжка вскочила Юхименке на руки. Он сейчас же сунул её в шинель, за пазуху.

— Идём, — говорит.

Я глазам своим не верил. Идём по улице, несём такое чудо, и никто не знает, что у нас за пазухой.

Дорогой Юхименко мне говорил, чем кормить.

— Всё ест, всё давай. Сладкое любит. Конфеты — беда! Дорвётся — непременно обожрётся. Чай любит жидкий и чтоб сладкий был. Ты ей внакладку. Два куска. Вприкуску не давай: сахар сожрёт, а чай пить не станет.

Я всё слушал и думал: я ей и трёх кусков не пожалею, миленькая такая, как игрушечный человек. Тут я вспомнил, что и хвоста у ней нет.

— Ты, — говорю, — хвост ей отрезал под самый корень?

— Она макака, — говорит Юхименко, — у них хвостов не растёт.

Пришли мы к нам домой. Мама и девочки сидели за обедом. Мы с Юхименкой вошли прямо в шинелях.

Я говорю:

— А кто у нас есть!

Все обернулись. Юхименко распахнул шинель. Никто ещё ничего разобрать не успел, а Яшка как прыгнет с Юхименки маме на голову; толкнулся ножками — и на буфет. Всю причёску маме осадил.

Все вскочили, закричали:

— Ой, кто, кто это?

А Яшка уселся на буфет и строит морды, чавкает, зубки скалит.

Юхименко боялся, что сейчас ругать его будут, и скорей к двери. На него и не смотрели — все глядели на обезьянку. И вдруг девочки все в один голос затаили:

— Какая хорошенькая!

А мама всё причёску прилаживала.

— Откуда это?

реклама

Я оглянулся. Юхименки уже нет. Значит, я остался хозяином. И я захотел показать, что знаю, как с обезьянкой надо. Я засунул руку в карман и крикнул, как давеча Юхименко:

— Яшка, Яшка! Иди, я тебе что дам!

Все ждали. А Яшка и не глянул — стал чесаться мелко и часто чёрной лапочкой.

До самого вечера Яшка не спускался вниз, а прыгал по верхам: с буфета на дверь, с двери на шкаф, оттуда на печку.

Вечером отец сказал:

— Нельзя её на ночь так оставлять, она квартиру верхним переверотит.

И я начал ловить Яшку. Я к буфету — он на печь. Я его оттуда щёткой — он прыг на часы. Качнулись часы и стали. А Яшка уже на занавесках качается.

Оттуда — на картину — картина покосилась, — я боялся, что Яшка кинется на висячую лампу.

Но тут уже все собрались и стали гоняться за Яшкой. В него кидали мячиком, катушками, спичками и наконец загнали в угол.

Яшка прижался к стене, оскалился и защёлкал языком — пугать начал. Но его накрыли шерстяным платком и завернули, запутали.

Яшка барахтался, кричал, но его скоро укрутили так, что осталась торчать одна голова. Он вертел головой, хлопал глазами, и казалось, сейчас заплачет от обиды.

Не пеленать же обезьяну каждый раз на ночь! Отец сказал:

— Привязать. За жилет и к ножке, к столу.

Я принёс верёвку, нащупал у Яшки на спине пуговицу, продел верёвку в петлю и крепко завязал. Жилет у Яшки на спине застёгивался на три пуговицы.

Потом я поднёс Яшку, как он был, закутанного, к столу, привязал верёвку к ножке и только тогда размотал платок.

Ух, как он начал скакать! Но где ему порвать верёвку! Он покричал, позлился и сел печально на полу.

Я достал из буфета сахару и дал Яшке. Он схватил чёрной лапочкой кусок, заткнул за щёку. От этого вся мордочка у него скривилась.

Я попросил у Яшки лапу. Он протянул мне свою ручку.

Тут я рассмотрел, какие на ней хорошенькие чёрные ноготки. Игрушечная живая ручка! Я стал гладить лапку и думаю: совсем как ребёночек. И пощекотал ему ладошку. А ребёночек-то как дёрнет лапку — раз — и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалится.

Вот и ребёночек!

Но тут меня погнало спать.

Я хотел Яшку привязать к своей кровати, но мне не позволили. Я всё прислушивался, что Яшка делает, и думал, что непременно ему надо устроить кроватку, чтоб он спал, как люди, и укрывался одеяльцем. Голову бы клал на подушечку. Думал, думал и заснул.

Утром вскочил — и, не одеваясь, к Яшке. Нет Яшки на верёвке. Верёвка есть, на верёвке жилет привязан, а обезьянки нет. Смотрю, все три пуговицы сзади расстёгнуты. Это он расстегнул жилет, оставил его на верёвке, а сам удрал. Я искать по комнате. Шлёпаю босыми ногами. Нигде нет. Я перепугался.

А ну как убежал? Дня не пробыл, и вот на тебе! Я на шкафы заглядывал, в печку — нигде. Убежал, значит, на улицу. А на улице мороз — замёрзнет, бедный! И самому стало холодно. Побежал одеваться. Вдруг вижу, в моей же кровати что-

то возится. Одеяло шевелится. Я даже вздрогнул. Вот он где! Это ему холодно на полу стало, он удрал и ко мне на кровать. Забился под одеяло.

А я спал и не знал. Яшка спросонья не дичился, дался в руки, и я напялил на него снова синий жилет.

Когда сели пить чай, Яшка вскочил на стол, огляделся, сейчас же нашёл сахарницу, запустил лапу и прыг на дверь. Он прыгал так легко, что, казалось, летает, не прыгает. На ногах у обезьяны пальцы, как на руках, и Яшка мог хватать ногами. Он так и делал. Сидит, как ребёнок, на руках у кого-нибудь и ручки сложил, а сам ногой со стола тянет что-нибудь.

Стащит ножик и ну с ножом скакать. Это чтобы у него отнимали, а он будет удирать. Чай Яшке дали в стакане. Он обнял стакан, как ведро, пил и чмокал. Я уж не пожалел сахару.

Когда я ушёл в школу, я привязал Яшку к дверям, к ручке. На этот раз обвязал его вокруг пояса верёвкой, чтобы уж не мог сорваться. Когда я пришёл домой, то из прихожей увидал, чем Яшка занимается. Он висел на дверной ручке и катался на дверях, как на карусели. Оттолкнётся от косяка и едет до стены.

Пихнёт ножкой в стену и едет назад.

Когда я сел готовить уроки, я посадил Яшку на стол. Ему очень нравилось греться около лампы. Он дремал, как старичок на солнышке, покачивался и, прищурясь, глядел, как я тыкаю пером в чернила. Учитель у нас был строгий, и я чистенько написал страницу. Промокать не хотелось, чтобы не испортить.

Оставил сохнуть. Прихожу и вижу: сидит Яков на тетради, макает пальчик в чернильницу, ворчит и выводит чернильные вавилоны по моему писанию. Ах ты, дрянь! Я чуть не заплакал с горя. Бросился на Яшку. Да куда! Он на занавески — все занавески чернилами перепачкал. Вот оно почему Юхименкин папа на них с Яшкой сердился...

Но раз и мой папа рассердился на Яшку. Яшка обрывал цветы, что стояли у нас на окнах. Сорвёт лист и дразнит. Отец поймал и отдул Яшку. А потом привязал его в наказание на лестнице, что вела на чердак. Узенькая лесенка.

А широкая шла из квартиры вниз.

Вот отец идёт утром на службу. Почистился, надел шляпу, спускается по лестнице. Хлоп! Штукатурка падает. Отец остановился, стряхнул со шляпы.

Глянул вверх — никого. Только пошёл — хлоп, опять кусок извёстки прямо на голову. Что такое?

А мне сбоку было видно, как орудовал Яшка. Он наломал от стенки извёстки, разложил по краям ступенек, а сам прилёг, притаился на лестнице, как раз у отца над головой. Только отец пошёл, а Яшка тихонечко толк ножкой штукатурку со ступеньки и так ловко примерил, что прямо отцу на шляпу, — это он ему мстил за то, что отец вздул его накануне.

Но когда началась настоящая зима, завыл ветер в трубах, завалило окна снегом, Яшка стал грустным. Я его всё грел, прижимал к себе. Мордочка у Яшки стала печальная, обвисшая, он подвизгивал и жался ко мне. Я попробовал сунуть его за пазуху, под куртку. Яшка сейчас же там устроился: он схва-

тился всеми четырьмя лапками за рубаху и так повис, как приклеился. Он так и спал там, не разжимая лап. Забудешь другой раз, что у тебя живой набрюшник под курткой, и обопрёшься о стол. Яшка сейчас лапкой заскребёт мне бок: даёт мне знать, чтоб осторожней.

Вот раз в воскресенье пришли в гости девочки. Сели завтракать. Яшка смирно сидел у меня за пазухой, и его совсем не было заметно. Под конец раздали конфеты. Только я стал первую разворачивать, вдруг из-за пазухи, прямо из моего живота, вытянулась мохнатая ручка, ухватила конфету и назад.

Девочки взвизгнули от страха. А это Яшка услышал, что бумагой шелестят, и догадался, что едят конфеты. А я девочкам говорю: «Это у меня третья рука; я этой рукой прямо в живот конфеты сую, чтоб долго не возиться». Но уж все догадались, что это обезьянка, и из-под куртки слышно было, как хрустит конфета: это Яшка грыз и чавкал, как будто я животом жую.

Яшка долго злился на отца. Примирился Яшка с ним из-за конфет. Отец мой как раз бросил курить и вместо папирос носил в портсигаре маленькие конфетки. И каждый раз после обеда отец открывал тугую крышку портсигара большим пальцем, ногтем, и доставал конфетки. Яшка тут как тут: сидит на коленях и ждёт — ёрзает, тянется. Вот отец раз и отдал весь портсигар Яшке; Яшка взял его в руку, а другой рукой, совершенно как мой отец, стал подковыривать большим пальцем крышку. Пальчик у него маленький, а крышка тугая и плотная, и ничего не выходит у Яшеньки. Он завыл с досады. А конфе-

ты брякают. Тогда Яшка схватил отца за большой палец и его ногтем, как стамеской, стал отковыривать крышку. Отца это рассмешило, он открыл крышку и поднёс портсигар Яшке. Яшка сразу запустил лапу, награбастал полную горсть, скорей в рот и бегом прочь. Не каждый же день такое счастье!

Был у нас знакомый доктор. Болтать любил — беда. Особенно за обедом.

Все уж кончили, у него на тарелке всё простыло, тогда он только хватится — поковыряет, наспех глотнёт два куска:

— Благодарю вас, я сыт.

Вот раз обедает он у нас, ткнул вилку в картошку и вилкой этой размахивает — говорит. Разошёлся — не унять. А Яша, вижу, по спинке стула поднимается, тихонько подкрался и сел у доктора за плечом. Доктор говорит:

— И понимаете, тут как раз... — И остановил вилку с картошкой возле уха — на один момент всего. Яшенька лапочкой тихонько за картошку и снял её с вилки — осторожно, как вор.

А доктор дальше:

— И представьте себе... — И тык пустой вилкой себе в рот. Сконфузился — думал, стряхнул картошку, когда руками махал, оглядывается. А Яшки уж нет — сидит в углу и прожевать картошку не может, всю глотку забил.

Доктор сам смеялся, а всё-таки обиделся на Яшку.

Яшке устроили в корзинке постель: с простынёй, одеяльцем, подушкой. Но Яшка не хотел спать по-человечьи: всё наматывал на себя клубком и таким чучелом сидел всю ночь.

Ему сшили платьице, зелёнькое, с пелеринкой, и стал он похож на стриженую девочку из приюта.

Вот раз я слышу звон в соседней комнате. Что такое? Пробираюсь тихонько и вижу: стоит на подоконнике Яшка в зелёном платьице, в одной руке у него ламповое стекло, а в другой — ёжик, и он ёжиком с остервенением чистит стекло. В такую ярость пришёл, что не слышал, как я вошёл. Это он видел, как стёкла чистили, и давай сам пробовать.

А то оставишь его вечером с лампой, он отвернёт огонь полным пламенем — лампа коптит, сажа летает по комнате, а он сидит и рычит на лампу.

Беда стало с Яшкой, хоть в клетку сажай! Я его и ругал и бил, но долго не мог на него сердиться. Когда Яшка хотел понравиться, он становился очень ласковым, залезал на плечо и начинал в голове искать. Это значит, он вас уже очень любит.

Надо ему выпросить что-нибудь — конфет там или яблоко, — сейчас залезет на плечо и заботливо начинает лапками перебирать в волосах: ищет и ноготком поскрёбывает. Ничего не находит, а делает вид, что поймал зверя: выкусывает с пальчиков чего-то.

Вот раз пришла к нам в гости дама. Она считала, что она красавица.

Разряженная. Вся так шёлком и шуршит. На голове не причёска, а прямо целая беседка из волос накручена — в завитках, в локончиках. А на шее, на длинной цепочке, зеркальце в серебряной оправе.

Яшка осторожно к ней по полу подскочил.

— Ах, какая обезьянка миловидная! — говорит дама. И давай зеркальцем с Яшкой играть.

Яшка поймал зеркальце, повертел — прыг на колени к даме и стал зеркальце на зуб пробовать.

Дама отняла зеркальце, зажала в руке. А Яшке хочется зеркало получить.

Дама погладила небрежно Яшку перчаткой и потихоньку спихивает с колен. Вот Яшка и решил понравиться, подольститься к даме. Прыг ей на плечо. Крепко ухватился за кружева задними лапками и взялся за причёску. Раскопал все завитки и стал искать.

Дама покраснела.

— Пошёл, пошёл! — говорит.

Не тут-то было! Яшка ещё больше старается: скребёт ноготками, зубками щёлкает.

Дама эта всегда против зеркала садилась, чтоб на себя полюбоваться, и видит в зеркале, что взлохматил её Яшка, — чуть не плачет. Я двинулся на выручку. Куда там! Яшка вцепился что было силы в волосы и на меня смотрит дико. Дама дёрнула его за шиворот, и своротил ей Яшка причёску. Глянула на себя в зеркало — чучело чучелом. Я замахнулся, спугнул Яшку, а гостья наша схватилась за голову и — в дверь.

— Безобразие, — говорит, — безобразие! — И не попрощалась ни с кем.

«Ну, — думаю, — держу до весны и отдам кому-нибудь, если Юхименко не возьмёт. Уж столько мне попадало за эту обезьянку!» И вот настала весна. Потеплело. Яшка ожил и ещё

больше проказил. Очень ему хотелось на двор, на волю. А двор у нас был огромный, с десятину.

Посреди двора был сложен горой казённый уголь, а вокруг склады с товаром. И от воров сторожа держали на дворе целую свору собак. Собаки большие, злые. А всеми собаками командовал рыжий пёс Каштан. На кого Каштан зарычит, на того все собаки бросаются. Кого Каштан пропустит, и собаки не тронут. А чужую собаку бил Каштан с разбегу грудью. Ударит, с ног собьёт и стоит над ней, рычит, а та уж и шелохнуться боится.

Я посмотрел в окно — вижу, нет собак во дворе. Дай, думаю, пойду, выведу Яшеньку погулять первый раз. Я надел на него зелёнькое платьице, чтобы он не простудился, посадил Яшку к себе на плечо и пошёл. Только я двери раскрыл, Яшка — прыг наземь и побежал по двору. И вдруг, откуда ни возьмись, вся стая собачья, и Каштан впереди, прямо на Яшку. А он, как зелёнькая куколка, стоит маленький. Я уж решил, что пропал Яшка, — сейчас разорвут. Каштан сунулся к Яшке, но Яшка повернулся к нему, присел, прицелился. Каштан стал за шаг от обезьянки, оскалился и ворчал, но не решался броситься на такое чудо. Собаки все оцетинились и ждали, что Каштан.

Я хотел броситься выручать. Но вдруг Яшка прыгнул и в один момент уселся Каштану на шею. И тут шерсть клочьями полетела с Каштана. По морде и глазам бил Яшка, так что лап не видно было. Взыл Каштан, и таким ужасным голосом, что все собаки врассыпную бросились. Каштан сломя голову пу-

стился бежать, а Яшка сидит, вцепился ногами в шерсть, крепко держится, а руками рвёт Каштана за уши, щиплет шерсть клочьями. Каштан с ума сошёл: носится вокруг угольной горы с диким воем. Раза три обежал Яшка верхом вокруг двора и на ходу спрыгнул на уголь. Взобрался не торопясь на самый верх. Там была деревянная будка; он влез на будку, уселся и стал чесать себе бок как ни в чём не бывало. Вот, мол, я — мне ни почём!

А Каштан — в ворота от страшного зверя.

С тех пор я смело стал выпускать Яшку во двор: только Яшка с крыльца — все собаки в ворота. Яшка никого не боялся.

Приедут во двор подводы, весь двор забьют, пройти негде. А Яшка с воза на воз перелетает. Вскочит лошади на спину — лошадь топчется, гривой трясёт, фыркает, а Яшка не спеша на другую перепрыгивает. Извозчики только смеются и удивляются:

— Смотри, какая сатана прыгает. Ишь ты! У-ух!

А Яшка — на мешки. Ищет щёлочки. Просунет лапку и щупает, что там.

Нащупает, где подсолнухи, сидит и тут же на возу щёлкает. Бывало, что и орехи нащупает Яшка. Набьёт за щёки и во все четыре руки старается нагрести.

Но вот нашёлся у Якова враг. Да какой! Во дворе был кот. Ничей. Он жил при конторе, и все его кормили объедками. Он разжирел, стал большой, как собака. Злой был и царапучий.

И вот раз под вечер гулял Яшка по двору. Я его никак не мог дозваться домой. Вижу, вышел на двор котище и прыг на скамью, что стояла под деревом.

Яшка, как увидел кота, — прямо к нему. Присел и идёт не спеша на четырёх лапах. Прямо к скамье и глаз с кота не спускает. Кот подобрал лапы, спину нагорбил, приготовился. А Яшка всё ближе ползёт. Кот глаза вытаращил, пятится. Яшка на скамью. Кот всё задом на другой край, к дереву. У меня сердце замерло. А Яков по скамье ползёт на кота. Кот уж в комок сжался, подобрался весь. И вдруг — прыг, да не на Яшку, а на дерево. Уцепился за ствол и глядит сверху на обезьянку. А Яшка всё тем же ходом к дереву. Кот поцарапался выше — привык на деревьях спасаться. А Яшка на дерево, и всё не спеша, целится на кота чёрными глазками. Кот выше, выше, влез на ветку и сел с самого краю. Смотрит, что Яшка будет делать. А Яков по той же ветке ползёт, и так уверенно, будто он сроду ничего другого не делал, а только котов ловил. Кот уж на самом краю, на тоненькой веточке еле держится, качается. А Яков ползёт и ползёт, цепко перебирая всеми четырьмя ручками.

Вдруг кот прыг с самого верха на мостовую, встряхнулся и во весь дух прочь без оглядки. А Яшка с дерева ему вдогонку: «Йау, йау», — каким-то страшным, звериным голосом — я у него никогда такого не слышал.

Теперь уж Яков стал совсем царём во дворе. Дома он уж есть ничего не хотел, только пил чай с сахаром. И раз так на дворе изюму наелся, что еле-еле его отходили. Яшка стонал, на

глазах слёзы, и на всех капризно смотрел. Всем было сначала очень жалко Яшку, но когда он увидел, что с ним возятся, стал ломаться и разбрасывать руки, закидывать голову и подвывать на разные голоса. Решили его укутать и дать касторки. Пусть знает!

А касторка ему так понравилась, что он стал орать, чтобы ему ещё дали.

Его запеленали и три дня не пускали на двор.

Яшка скоро поправился и стал рваться на двор. Я за него не боялся: поймать его никто не мог, и Яшка целыми днями прыгал по двору. Дома стало спокойнее, и мне меньше влетало за Яшку. А как настала осень, все в доме в один голос:

— Куда хочешь убирай свою обезьянку или сажай в клетку, а чтоб по всей квартире эта сатана не носилась.

То говорили, какая хорошенькая, а теперь, думаю, сатана стала. И как только началось ученье, я стал искать в классе, кому бы сплавить Яшку.

Подыскал наконец товарища, отозвал в сторону и сказал:

— Хочешь, я тебе обезьянку подарю? Живую.

Не знаю уж, кому он потом Яшку сплавил.

Но первое время, как не стало Яшки в доме, я видел, что все немного скучали, хоть признаваться и не хотели.

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ. БАРСУЧИЙ НОС

Озеро около берегов было засыпано ворохами жёлтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая вода казалась чёрной, как дёготь.

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далёкие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звёзды.

У нас на стоянке горел костёр. Мы жгли его весь день и ночь напролёт, чтобы отгонять волков, — они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и весёлые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высывал из травы даже ушей.

Картошка жарилась на сковороде, от неё шёл острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночёвки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он всё замечал и рассказывал.

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины.

Мы делали вид, что верили ему.

Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над чёрными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

Мальчик первый услышал фыркание зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, — кто знает, что это мог быть за зверь!

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чёрный нос, похожий на свиной пяточок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с чёрными пронзительными глазами. Наконец показалась полосатая шкурка.

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке. Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжётся, но я опоздал — барсук прыгнул к сковородке и сунул в неё нос...

Запахло палёной кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука.

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожжённый нос. Я не поверил.

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах — мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук.

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожжённый нос.

Он стоял неподвижно и охлаждал свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь.

Через год я встретил на берегах этого же озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесь, стрекоз.

Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ. ЖИЛЬЦЫ СТАРОГО ДОМА

Неприятности начались в конце лета, когда в старом деревенском доме появилась кривоногая такса Фунтик. Фунтика привезли из Москвы.

Однажды чёрный кот Степан сидел, как всегда, на крыльце и, не торопясь, умывался. Он лизал растопыренную пятер-

ню, потом, зажмурившись, тёр изо всей силы обшлюнённой лапой у себя за ухом.

Внезапно Степан почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он оглянулся и замер с лапой, заложенной за ухо. Глаза Степана побелели от злости. Маленький рыжий пёс стоял рядом. Одно ухо у него завернулось. Дрожа от любопытства, пёс тянулся мокрым носом к Степану — хотел обнюхать этого загадочного зверя.

— Ах, вот как!

Степан изловчился и ударил Фунтика по вывернутому уху.

Война была объявлена, и с тех пор жизнь для Степана потеряла всякую прелесть. Нечего было и думать о том, чтобы лениво тереться мордой о косяки разошедшихся дверей или валяться на солнце около колодца. Ходить приходилось с опаской, на цыпочках, почаще оглядываться и всегда выбирать впереди какое-нибудь дерево или забор, чтобы вовремя удрать от Фунтика.

У Степана, как у всех котов, были твёрдые привычки. Он любил по утрам обходить заросший чистотелом сад, гонять со старых яблонь воробьев, ловить жёлтых бабочек-капустниц и точить когти на сгнившей скамье. Но теперь приходилось обходить сад не по земле, а по высокому забору, неизвестно зачем обтянутому заржавленной колючей проволокой и к тому же такому узкому, что временами Степан долго думал, куда поставить лапу.

Вообще в жизни Степана бывали разные неприятности. Однажды он украл и съел плотицу вместе с застрявшим в жабрах рыболовным крючком — и все сошло, Степан даже не заболел. Но никогда ещё ему не приходилось унижаться из-за кривоногой собаки, похожей на крысу. Усы Степана вздрагивали от негодования.

Один только раз за все лето Степан, сидя на крыше, усмехнулся.

Во дворе, среди курчавой гусиной травы, стояла деревянная миска с мутной водой — в неё бросали корки чёрного хлеба для кур. Фунтик подошёл к миске и осторожно вытащил из воды большую размокшую корку.

Сварливый голенастый петух, прозванный «Горлачом», пристально посмотрел на Фунтика одним глазом. Потом повернул голову и посмотрел другим глазом.

Петух никак не мог поверить, что здесь, рядом, среди бела дня происходит грабёж.

Подумав, петух поднял лапу, глаза его налились кровью, внутри у него что-то заклокотало, как будто в петухе гремел далёкий гром. Степан знал, что это значит, — петух разъярялся.

Стремительно и страшно, топая мозолистыми лапами, петух помчался на Фунтика и клюнул его в спину. Раздался короткий и крепкий стук. Фунтик выпустил хлеб, прижал уши и с отчаянным воплем бросился в отдушину под дом.

Петух победно захлопал крыльями, поднял густую пыль, клюнул размокшую корку и с отвращением отшвырнул её в сторону — должно быть, от корки пахло псиной.

Фунтик просидел под домом несколько часов и только к вечеру вылез и сторонкой, обходя петуха, пробрался в комнаты. Морда у него была в пыльной паутине, к усам прилипли высохшие пауки.

Но гораздо страшнее петуха была худая чёрная курица. На шее у неё была накинута шаль из пёстрого пуха, и вся она походила на цыганку-гадалку.

Купили эту курицу напрасно. Недаром старухи по деревне говорили, что куры делаются чёрными от злости.

Курица эта летала, как ворона, дралась и по несколько часов могла стоять на крыше и без перерыва кудахтать. Сбить её с крыши, даже кирпичом, не было возможности. Когда мы возвращались из лугов или из леса, то издали была уже видна эта курица — она стояла на печной трубе и казалась вырезанной из жести.

Нам вспоминались средневековые харчевни — о них мы читали в романах Вальтера Скотта. На крышах этих харчевен торчали на шесте жестяные петухи или куры, заменявшие вывеску.

Так же как в средневековой харчевне, нас встречали дома бревенчатые тёмные стены, законопаченные жёлтым мхом, пылающие поленья в печке и запах тмина. Почему-то старый дом пропах тмином и древесной трухой.

Романы Вальтера Скотта мы читали в пасмурные дни, когда мирно шумел по крышам и в саду тёплый дождь. От ударов маленьких дождевых капель вздрагивали мокрые листья на деревьях, вода лилась тонкой и прозрачной струёй из водосточной трубы, а под трубой сидела в луже маленькая зелёная лягушка. Вода лилась ей прямо на голову, но лягушка не двигалась и только моргала.

Когда не было дождя, лягушка сидела в лужице под ручьём. Раз в минуту ей капала на голову из ручья холодная вода. Из тех же романов Вальтера Скотта мы знали, что в средние века самой страшной пыткой было вот такое медленное капанье на голову ледяной воды, и удивлялись лягушке.

Иногда по вечерам лягушка приходила в дом. Она прыгала через порог и часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой лампы.

Трудно было понять, чем этот огонь так привлекал лягушку. Но потом мы догадались, что лягушка приходила смотреть на яркий огонь так же, как дети собираются вокруг неубранного чайного стола послушать перед сном сказку.

Огонь то вспыхивал, то ослабевал от сгоравших в ламповом стекле зелёных мошек. Должно быть, он казался лягушке большим алмазом, где, если долго всматриваться, можно увидеть в каждой грани целые страны с золотыми водопадами и радужными звёздами.

Лягушка так увлекалась этой сказкой, что её приходилось щекотать палкой, чтобы она очнулась и ушла к себе, под

сгнившее крыльцо, — на его ступеньках ухитрялись расцвётать одуванчики.

Во время дождя кое-где протекала крыша. Мы ставили на пол медные тазы.

Ночью вода особенно звонко и мерно капала в них, и часто этот звон совпадал с громким тиканьем ходиков.

Ходики были очень весёлые — разрисованные пышными розанами и трилистниками. Фунтик каждый раз, когда проходил мимо них, тихо ворчал — должно быть, для того, чтобы ходики знали, что в доме есть собака, были настороже и не позволяли себе никаких вольностей — не убегали вперёд на три часа в сутки или не останавливались без всякой причины.

В доме жило много старых вещей. Когда-то давно эти вещи были нужны обитателям дома, а сейчас они пылились и высыхали на чердаке и в них копошились мыши.

Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и среди разбитых оконных рам и занавесей из мохнатой паутины находили то ящик от масляных красок, покрытый разноцветными окаменелыми каплями, то сломанный перламутровый веер, то медную кофейную мельницу времён севастопольской обороны, то огромную тяжёлую книгу с гравюрами из древней истории, то, наконец, пачку переводных картинок.

Мы переводили их. Из-под размокшей бумажной плёнки появлялись яркие и липкие виды Везувия, итальянские ослики, убранные гирляндами роз, девочки в соломенных шляпах с голубыми атласными лентами, играющие в серсо, и фрегаты, окружённые пухлыми мячиками порохового дыма.

Как-то на чердаке мы нашли деревянную чёрную шкатулку. На крышке её медными буквами была выложена английская надпись: «Эдинбург. Шотландия. Делал мастер Гальвестон».

Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с неё пыль и открыли крышку. Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. Около каждого валика сидела на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук.

Это была музыкальная шкатулка. Мы завели её, но она не играла. Напрасно мы нажимали на спинки жуков, мух и стрекоз — шкатулка была испорчена.

За вечерним чаем мы заговорили о таинственном мастере Гальвестоне. Все сошлись на том, что это был весёлый пожилой шотландец в клетчатом жилете и кожаном фартуке. Во время работы, обтачивая в тисках медные валики, он, наверное, насвистывал песенку о почтальоне, чей рог поёт в туманных долинах, и девушке, собирающей хворост в горах. Как все хорошие мастера, он разговаривал с теми вещами, которые делал, и предсказывал им их будущую жизнь. Но, конечно, он никак не мог догадаться, что эта чёрная шкатулка попадёт из-под бледного шотландского неба в пустынные леса за Окой, в деревню, где только одни петухи поют, как в Шотландии, а всё остальное совсем не похоже на эту далёкую северную страну.

С тех пор мастер Гальвестон стал как бы одним из невидимых обитателей старого деревенского дома. Порой нам даже казалось, что мы слышим его хриплый кашель, когда он невзначай поперхнётся дымом из трубки. А когда мы что-нибудь

сколачивали — стол в беседке или новую скворечню — и спорили, как держать фуганок или пригнать одну к другой две доски, то часто ссылались на мастера Гальвестона, будто он стоял рядом и, прищурив серый глаз, насмешливо смотрел на нашу возню. И все мы напевали последнюю любимую песенку Гальвестона:

Прощай, звезда над милыми горами!
Прощай навек, мой тёплый отчий дом...

Шкатулку поставили на стол, рядом с цветком герани, и в конце концов забыли о ней.

Но как-то осенью, поздней осенью, в старом и гулком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими молоточками по колокольчикам, и из этого чудесного звона возникла и полилась мелодия:

В милые горы
Ты возвратишься...

Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и заиграла шкатулка. В первую минуту мы испугались, и даже Фунтик слушал, осторожно подымая то одно, то другое ухо. Очевидно, в шкатулке соскочила какая-нибудь пружина.

Шкатулка играла долго, то останавливаясь, то снова наполняя дом таинственным звоном, и даже ходики притихли от изумления.

Шкатулка проиграла все свои песни, замолчала, и как мы ни бились, но заставить её снова играть мы не смогли.

Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там одна в пустых нетопленных комнатах, и, может

быть, в непроглядные и тихие ночи она снова просыпается и играет, но её уже некому слушать, кроме пугливых мышей.

Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам её не просвистел пожилой скворец, — он жил в скворечне около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то мы радовались, что будущей зимой где-то страшно далеко, в густых лесах на берегу Нигера, скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.

Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрых синиц слетались на стол и склёвывали крошки. У синиц были белые пушистые щеки, и когда синицы клевали все сразу, то было похоже, будто по столу торпливо бьют десятки белых молоточков.

Синицы ссорились, трещали, и этот треск, напоминавший быстрые удары ногтем по стакану, сливался в весёлую мелодию. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щечечущий музыкальный ящик.

Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика, кота Степана, петуха, ходиков, музыкального ящика, мастера Гальвестона и скворца, были ещё прирученная дикая утка, ёж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью «Дар Валдая» и барометр, всегда показывавший «великую сушь». О них придётся рассказать в другой раз — сейчас уже поздно.

Но если после этого маленького рассказа вам приснится ночная весёлая игра музыкального ящика, звон дождевых капель, падающих в медный таз, ворчанье Фунтика, недовольного ходиками, и кашель добряка Гальвестона — я буду думать, что рассказал вам всё это не напрасно.

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ. ЗАЯЧЬИ ЛАПЫ

К ветеринару в наше село пришёл с Урженского озера Ваня Малявин и принёс завёрнутого в рваную ватную куртку маленького тёплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами...

— Ты что, одурел? — крикнул ветеринар. — Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!

— А вы не лайте, это заяц особенный, — хриплым шёпотом сказал Ваня. — Его дед прислал, велел лечить.

— От чего лечить-то?

— Лапы у него пожжённые.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:

— Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком — деду будет закуска.

Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слёзы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.

— Ты чего, мальй? — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару свою единственную козу.- Чего вы, сердешные, вдвоём слёзы льёте? Ай случилось что?

— Пожжённый он, дедушкин заяц, — сказал тихо Ваня. — На лесном пожаре лапы себе пожёт, бегать не может. Вот-вот, гляди, умрёт.

— Не умрёт, мальй, — прошамкала Анисья. -- Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пуцай несёт его в город к Карлу Петровичу.

Ваня вытер слёзы и пошёл лесами домой, на Урженское озеро. Он не шёл, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошёл стороной на север около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах.

Заяц стонал.

Ваня нашёл по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.

— Ты чего, серый? — тихо спросил Ваня. — Ты бы поел.

Заяц молчал.

— Ты бы поел, — повторил Ваня, и голос его задрожал. — Может, пить хочешь?

Заяц повёл рваным ухом и закрыл глаза.

Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес — надо было поскорее дать зайцу напиток из озера.

Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень.

Наутро дед надел чистые онучи[i] и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрёл в город. Ваня нёс зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.

Суховой вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар.

На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился.

— Не то лошадь, не то невеста — шут их разберёт! — сказал он и сплюнул.

Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:

— Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш — специалист по детским болезням -- уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?

Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.

— Это мне нравится! -сказал аптекарь. -- Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится!

Он нервно снял пенсне, протёр, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался на месте. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.

— Почтовая улица, три! — вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрёпанную толстую книгу. — Три!

Дед с Ваней добрали до Почтовой улицы как раз вовремя — из-за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга; далеко за Полями уже горел стог сена, зажжённый ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.

Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрёпанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился.

— Я не ветеринар, — сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. — Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.

— Что ребёнок, что заяц — все одно, — упрямо пробормотал дед. — Все одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить!

Ещё через минуту Карл Петрович — старик с седыми взъерошенными бровями, — волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.

Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушёл на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.

Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришёл длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.

Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понёс домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо:

Заяц не продажный, живая душа, пусть живёт на воле.

При сем остаюсь Ларион Малявин.

...Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно кричали всю ночь.

Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар — от него окна в избе сразу запотели и звёзды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал — воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далёкого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.

В августе дед пошёл охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.

Дед пошёл дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.

Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идёт прямо на него. Ветер перешёл в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шёл со скоростью тридцати километров в час.

Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени.

Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.

Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чувствуют, откуда идёт огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!»

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед — оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понёс домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.

— Да, — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной, — да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.

— Чем же ты провинился?

— А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!

Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарём и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял всё.

[i] Онучи — обмотки для ноги под сапог или лапоть, портянка

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ. КОТ-ВОРЮГА

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось, наконец, установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Это был кот, потерявший всякую совесть, кот-бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой. Он воровал всё: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей. Обьевшие куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля всё равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота. Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронёсся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукуан с окунями. Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукуана; на нём было десять жирных окуней, пойманных на Прорве. Это было уже не воровство, а грабёж среди бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки. Кот попался этим же вечером. Он украл со сто-

ла кусок ливерной колбасы и полез с ним на берёзу. Мы начали трясти берёзу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Руви-му.

Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл. Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с берёзы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом. Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу. Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нём только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озёр. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях. Чтобы пройти к берегу озёр, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи жёлтой цветочной пылью.

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожжённые солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходах рыжего кота. Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления. Прошёл час, два, три... Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Лёнька, сын деревенского сапожника. Лёнька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота. Лёнька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днём плотицу и закинул её через лаз в подполье.

Вой прекратился. Мы слышали хруст и хищное щёлканье — кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мёртвой хваткой.

Лёнька потащил за леску, кот отчаянно упирался, но Лёнька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу.

Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза. Лёнька схватил кота за шиворот и поднял над землёй. Мы впервые его рассмотрели как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! — сказал я.

— Не поможет, — сказал Лёнька. — У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует.

Кот ждал, зажмурив глаза. Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на по-

роге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звёзды зелёными нахальными глазами. После умывания он долго фыркал и тёрся головой о пол.

Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрёт себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать. На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.

Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склёвывать из тарелок гречневую кашу. Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол. Куры взлетели с отчаянным воплем.

Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух- дурак, прозванный «Горлачом».

Кот нёсся за ним на трёх лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух.

Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу.

После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал.

Его облили холодной водой, и он отошёл. С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он тёрся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти. Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ. ПОДАРОК

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето гораздо короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы.

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет пятнадцати. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил то кошёлку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так — погостить у нас: послушать разговоры и почитать журнал «Вокруг света».

Толстые переплетённые тома этого журнала валялись в чулане вместе с веслами, фонарями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой краской. Она отваливалась от сухого

дерева большими кусками, и дерево под краской пахло старым воском.

Однажды Ваня принёс маленькую, выкопанную с корнем берёзу. Корни он обложил сырым мхом и обернул рогожей.

— Это вам, — сказал он и покраснел. — Подарок. Посадите её в деревянную кадку и поставьте в тёплой комнате — она всю зиму будет зелёная.

— Зачем ты её выкопал, чудак? — спросил Рувим.

— Вы же говорили, что вам жалко лета, — ответил Ваня. — Дед меня и надоумил. «Сбегай, говорит, на прошлогоднюю гарь, там берёзы-двухлетки растут, как трава, — проходу от них нет никакого. Выкопай и отнеси Руму Исаевичу (так дед называл Рувима). Он о лете беспокоится, вот и будет ему на студёную зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зелёный лист, когда на дворе снег валит как из мешка».

— Я не только о лете, я ещё больше об осени жалею, — сказал Рувим и потрогал тоненькие листья берёзы.

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землёй и пересадили в него маленькую берёзу. Ящик поставили в самой светлой и тёплой комнате у окна, и через день опустившиеся ветки берёзы поднялись, вся она повеселела, и даже листья у неё уже шумели, когда сквозной ветер врывается в комнату и в сердцах хлопал дверью. В саду поселилась осень, но листья нашей берёзы оставались зелёными и живыми. Горели тёмным пурпуром клёны, порозовел бересклет, ссыхался дикий виноград на беседке. Даже кое-где на берёзах в саду появились жёлтые пряди, как первая седина у ещё нестарого че-

ловека. Но берёза в комнате, казалось, все молодела. Мы не замечали у неё никаких признаков увядания.

Как-то ночью пришёл первый заморозок. Он надыхал холодом на стекла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звёзды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в тёплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука — пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой — сон сразу прошёл. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась все прозрачнее, сквозь неё уже были видны далёкие и нежные страны золотых и розовых облаков.

Ветра не было, но в саду все падали и падали листья. Берёзы за одну эту ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпались с них частым и печальным дождем.

Я вернулся в комнаты: в них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в кадке маленькая берёза, и я вдруг заметил — почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу.

Комнатная теплота не спасла берёзу. Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых по осени просторных полянах.

Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с мыслью, что в зимние снежные дни берёза будет зеленеть в комнатах, освещённых белым солнцем и багровым пламенем весёлых печей. Последняя память о лете исчезла.

Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зелёную листву на берёзе.

— Это закон, — сказал он. — Закон природы. Если бы деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от многих вещей — от тяжести снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые толстые ветки, и от того, что к осени в листве накапливалось бы много вредных для дерева солей, и, наконец, от того, что листья продолжали бы и среди зимы испарять влагу, а мёрзлая земля не давала бы её корням дерева, и дерево неизбежно погибло бы от зимней засухи, от жажды.

А дед Митрий, по прозвищу «Десять процентов», узнав об этой маленькой истории с берёзой, истолковал её по-своему.

— Ты, милоч, — сказал он Рувиму, — поживи с моё, тогда и спорь. А то ты со мной все споришь, а видать, что умом пораскинуть у тебя ещё времени не хватило. Нам, старым, думать способнее. У нас заботы мало — вот и прикидываем, что к чему на земле притёсано и какое имеет объяснение. Взять, скажем, эту берёзу. Ты мне про лесничего не говори, я наперёд знаю все, что он скажет. Лесничий мужик хитрый, он когда в Москве жил, так, говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет?

— Может, — ответил Рувим.

— «Может, может»! — передразнил его дед. — А ты этот электрический ток видал? Как же ты его видал, когда он видимости не имеет, вроде как воздух? Ты про берёзу слушай. Промеж людей есть дружба или нет? То-то, что есть. А люди заноятся. Думают, что дружба им одним дадена, чванятся перед всяким живым существом. А дружба — она, брат, кругом, куда ни глянешь. Уж что говорить, корова с коровой дружит и зяблик с зябликом.

Убей журавля, так журавлиха исчахнет, исплечется, места себе не найдёт. И у всякой травы и дерева тоже, надо быть, дружба иногда бывает. Как же твоей берёзе не облететь, когда все её товарки в лесах облетели? Какими глазами она весной на них взглянет, что скажет, когда они зимой исстрадались, а она грелась у печки, в тепле, да в сытости, да в чистоте? Тоже совесть надо иметь.

— Ну, это ты, дед, загнул, — сказал Рувим.- С тобой не столкнешься.

Дед захихикал.

— Ослаб? — спросил он язвительно. — Сдаёшься? Ты со мной не заводись, — бесполезное дело.

Дед ушёл, постукивая палкой, очень довольный, уверенный в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами и лесничего.

Берёзу мы высадили в сад, под забор, а её жёлтые листья собрали и засушили между страниц «Вокруг света».

Этим и кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ. ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето окончилось навсегда и земля уходит все дальше и дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу.

Был конец ноября — самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда тёмная вода хлестала в окна.

Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи[v], и вот уже больше недели, как никто нас не навещал: ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий.

Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах и на старой гравюре — портрете художника Брюллова. Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же как и мы, отложив раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя по тесовой крыше.

Ярко горели лампы, и все пел и пел свою нехитрую песню медный самовар-инвалид. Как только его вносили в комнату, в ней сразу становилось уютно — может быть, оттого, что стекла запотевали и не было видно одинокой берёзовой ветки, день и ночь стучавшей в окно.

После чая мы садились у печки и читали. В такие вечера приятнее всего было читать очень длинные и трогательные романы Чарльза Диккенса или перелистывать тяжёлые тома журналов «Нива» и «Живописное обозрение» за старые годы.

По ночам часто плакал во сне Фунтик — маленькая рыжая такса. Приходилось вставать и закутывать его тёплой шерстяной тряпкой. Фунтик благодарил сквозь сон, осторожно лизал руку и, вздохнув, засыпал. Темнота шумела за стенами плеском дождя и ударами ветра, и страшно было подумать о тех, кого, может быть, застигла эта ненастная ночь в непроглядных лесах.

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и, наконец, понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Таковую тишину называют «мёртвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было только слышно, как посапывает во сне кот.

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошёл к окну — за стёклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг неё переливался желтоватый круг.

Когда же выпал первый снег? Я подошёл к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа.

Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заморозила стужа.

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клёна в саду. Ветка закачалась, с неё посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с ёлки. Потом снова все стихло.

Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал:

— Первый снег очень к лицу земле.

Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.

А утром все хрустело вокруг: подмёрзшие дороги, листья на крыльце, чёрные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.

К чаю приплёлся в гости дед Митрий и поздравил с первопутком[vi].

— Вот и умылась земля, — сказал он, — снеговой водой из серебряного корыта.

— Откуда ты это взял, Митрий, такие слова? — спросил Рувим.

— А нешто не верно? — усмехнулся дед. — Моя мать, покойница, рассказывала, что в стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина и потому никогда не вяла их красота. Было это ещё до царя Петра, милок, когда по здешним лесам разбойники купцов разоряли.

Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на лесные озера. Дед проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озерах, но «не пуцала ломота в костях».

В лесах было торжественно, светло и тихо.

День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как бисер.

Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи снегирей сидели, нахохлившись, на засыпанных снегом рябинах.

Мы сорвали несколько гроздей схваченной морозом красной рябины — это была последняя память о лете, об осени.

На маленьком озере — оно называлось Лариным прудом — всегда плавало много ряски[vii]. Сейчас вода в озере была очень чёрная, прозрачная, — вся ряска к зиме опустилась на дно.

У берегов выросла стеклянная полоска льда. Лёд был такой прозрачный, что даже вблизи его было трудно заметить. Я увидел в воде у берега стаю плотниц и бросил в них маленький камень. Камень упал на лёд, зазвенел, плотницы, блеснув чешуёй, метнулись в глубину, а на льду остался белый зернистый след от удара. Только поэтому мы и догадались, что у берега уже образовался слой льда. Мы обламывали руками отдельные льдинки. Они хрустели и оставляли на пальцах смешанный запах снега и брусники.

Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Небо над головой было очень светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. Оттуда шли медленные, снеговые тучи.

В лесах становилось все сумрачнее, все тише, и, наконец, пошёл густой снег. Он таял в чёрной воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса.

Зима начала хозяйничать над землёй, но мы знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его руками, ещё можно найти свежие лесные цветы, знали, что в печках всегда будет трещать огонь, что с нами остались зимовать синицы, и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето.

[v] Стреха -- нижний край крыши; крыша в избах.

[vi] Первопутка, первопуток — первопутье, первый снег, первая зимняя дорога.

[vii] Ряска (Lemna) — род травянистых растений из семейства рясковых. Цветы мелкие, состоящие или из одной тычинки или одного пестика. Плод мешочек с 6 семенами. Встречается в пресных водах всего света, иногда сплошь покрывает большие водные поверхности. Иногда идёт на корм свиньям и домашним водяным птицам.

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ. СИВЫЙ МЕРИН

На закате колхозных лошадей гнали через брод в луга, в ночное. В лугах они паслись, а поздней ночью подходили к огороженным тёплым стогам и спали около них, стоя, всхрапывая и потряхивая ушами. Лошади просыпались от каждого шороха, от крика перепела, от гудка буксирного парохода, тащившего по Оке баржи. Пароходы всегда гудели в одном и

том же месте, около переката, где был виден белый сигнальный огонь. До огня было не меньше пяти километров, но казалось, что он горит недалеко, за соседними ивами.

Каждый раз, когда мы проходили мимо согнанных в ночное лошадей, Рувим спрашивал меня, о чем думают лошади ночью.

Мне казалось, что лошади ни о чем не думают. Они слишком уставали за день. Им было не до размышлений. Они жевали мокрую от росы траву и вдыхали, раздув ноздри, свежие запахи ночи. С берега Прорвы доносился тонкий запах отцветающего шиповника и листьев ивы. Из лугов за Новосёлковским бродом тянуло ромашкой и медуницей^[ii], — её запах был похож на сладкий запах пыли. Из лощин^[iii] пахло укропом, из озёр — глубокой водой, а из деревни изредка доносился запах только что испечённого чёрного хлеба. Тогда лошади подымали головы и ржали.

Однажды мы вышли на рыбную ловлю в два часа ночи. В лугах было сумрачно от звёздного света. На востоке уже занималась, синяя, заря.

Мы шли и говорили, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает перед рассветом. Даже в больших городах в это время становится тихо, как в поле.

По дороге на озеро стояло несколько ив. Под ивами спал сивый мерин. Когда мы проходили мимо него, он проснулся, махнул тощим хвостом, подумал и побрёл следом за нами.

Всегда бывает немного жутко, когда ночью лошадь увяжется за тобой и не отстаёт ни на шаг. Как ни оглянёшься, она

все идёт, покачивая головой и перебирая тонкими ногами. Однажды днём в лугах ко мне вот так же пристала ласточка. Она кружилась около меня, задевала за плечо, кричала жалобно и настойчиво, будто я у неё отнял птенца, и она просила отдать его обратно. Она летела за мной, не отставая, два часа, и в конце концов мне стало не по себе. Я не мог догадаться, что ей нужно. Я рассказал об этом знакомому делу Митрию, и он посмеялся надо мной.

— Эх ты, безглазый! — сказал он. — Да ты глядел или нет, чего она делала, эта ласточка. Видать, что нет. А ещё очки в кармане носишь. Дай покурить, тогда я тебе все объясню.

Я дал ему покурить, и он открыл мне простую истину: когда человек идёт по некошеному лугу, он спугивает сотни кузнечиков и жуков, и ласточке незачем выискивать их в густой траве — она летает около человека, ловит их на лету и кормится без всякой заботы.

Но старый мерин нас не испугал, хотя и шёл сзади так близко, что иногда толкал меня мордой в спину. Старого мерина мы знали давно, и ничего таинственного в том, что он увязался за нами, не было. Попросту ему было скучно стоять одному всю ночь под ивой и прислушиваться, не ржёт ли где-нибудь его приятель, гнедой одноглазый конь.

На озере, пока мы разводили костёр, старый мерин подошёл к воде, долго её нюхал, но пить не захотел. Потом он осторожно пошёл в воду.

— Куда, дьявол! — в один голос закричали мы оба, боясь, что мерин распугает рыбу.

Мерин покорно вышел на берег, остановился у костра и долго смотрел, помахивая головой, как мы кипятили в котелке чай, потом тяжело вздохнул, будто сказал: «Эх вы, ничего-то вы не понимаете!» Мы дали ему корку хлеба. Он осторожно взял её тёплыми губами, сжевал, двигая челюстями из стороны в сторону, как тёркой, и снова уставился на костёр — задумался.

— Всё-таки, — сказал Рувим, закуривая, — он, наверное, о чем-нибудь думает.

Мне казалось, что если мерин о чем-нибудь и думает, то главным образом о людской неблагодарности и бестолковости. Что он слышал за всю свою жизнь? Одни только несправедливые окрики: «Куда, дьявол!», «Заелся на хозяйских хлебах!», «Овса ему захотелось — подумаешь, какой барин!». Стоило ему оглянуться, как его хлестали вожжой по потному боку и раздавался все один и тот же угрожающий окрик: «Но-но, оглядывайся у меня!» Даже пугаться ему запрещалось — тотчас возница начинал накручивать вожжами над головой и кричать тонким злорадным голосом: «Боишься-и, черт!» Хомут всегда затягивали, упираясь в него грязным сапогом, и тем же сапогом толкали мерина в брюхо, чтобы он не надувал его, когда затягивали подпругу.

Благодарности не было. А он всю жизнь таскал, хрипя и надсаживаясь, по пескам, по грязи, по липкой глине, по косогорам, по «битым» дорогам и кривым просёлкам скрипучие, плохо смазанные телеги с сеном, картошкой яблоками и капустой. Иногда в песках он останавливался отдохнуть. Бока его

тяжело ходили, от гривы поднимался пар, но возницы со свистом вытягивали его ремённым кнутом по дрожащим ногам и хрипло, с наигранной яростью кричали: «Но-о, идол, нет на тебя погибели!» И мерин, рванувшись, тащил телегу дальше.

Начало быстро светать. Звёзды бледнели, как бы уходили от земли в глубину неба. Неожиданно над головой, на огромной высоте, загорелось нежным розовым светом одинокое облачко, похожее на пух. Там, в вышине, уже светило летнее солнце, а на земле ещё стоял сумрак, и роса капала с белых зонтичных цветов дягиля в тёмную, настоявшуюся за ночь воду.

Мерин опустил голову к самой земле, из его глаз выкатилась одинокая старческая слеза, и он уснул.

Утром, когда роса горела от солнца на травах так сильно, что весь воздух вокруг был полон влажного блеска, мерин проснулся и громко заржал. Из лугов шёл к нему с недоуздом, перекинутым через плечо, колхозный конюх Петя, недавно вернувшийся из армии белобрысый красноармеец. Мерин медленно пошёл к нему навстречу, потёрся головой о плечо Пети и безропотно дал надеть на себя недоуздок.

Петя привязал его к изгороди около стога, а сам подошёл к нам — покурить и побеседовать насчёт клёва.

— Вот вы, я гляжу, — сказал он, сплёвывая, — ловите на шелковый шнур, а наши огольцы плетут лески из конского волоса. У мерина весь хвост повыдергали, черти! Скоро обмахнуться от овода — и то будет нечем.

— Старик своё отработал, — сказал я.

— Известно, отработал, — согласился Петя. — Старик хороший, душевный.

Он помолчал. Мерин оглянулся на него и тихо заржал.

— Подождёшь, — сказал Петя. — Работы с тебя никто не спрашивает — ты и молчи.

— А что он, болен, что ли? — спросил Рувим.

— Да нет, не болен, — ответил Петя, — а только тяги у него уже не хватает. Отслужил. Председатель колхоза — ну, знаете, этот сухорукий — хотел было отправить его к коновалу, снять шкуру, а я воспрепятствовал. Не то чтобы жалко, а так... Всё-таки снисхождение к животному надо иметь. Для людей — дома отдыха, а для него — что? Шиш! Так, значит, и выходит — всю жизнь запаривайся, а как пришла старость — так под нож. «Нет, говорю, Леонтий Кузьмич, не имеешь ты в себе окончательной правды. Ты, говорю, за копейкой гонись, но и совесть свою береги. Отдай мне этого мерина, пусть он у меня поживёт на вольном воздухе, попасётся, — ему и жить-то осталось всего ничего». Поглядите, даже морда у него — и та кругом седая.

— Ну, и что же председатель? — спросил Рувим.

— Согласился. «Только, говорит, я тебе для него не дам ни полпуда овса. Это уже, говорит, похоже на расточительство». — «А мне, говорю, на ваш овёс как будто наплевать, я своим кормить буду». Так вот и живёт у меня. Моя старуха, мамаша, сначала скрипела: зачем, мол, этого дармоеда на дворе держим, а сейчас обвыкла, даже разговаривает с ним, с ме-

рином, когда меня нету. Поговорить, знаете, не с кем, вот она ему и рассказывает всякую всячину. А он и рад слушать... Но-о, дьявол! — неожиданно закричал Петя.

Мерин, ощерив жёлтые зубы, тихонько грыз изгородь около стога. Петя поднялся.

— Два дня в лугах погулял, теперь пусть постоит во дворе, в сарае, — сказал он и протянул мне чёрную от дёгтя руку. — Прощайте.

Он увёл мерина. Тихое утро было полно такой свежести, будто воздух промыли родниковой водой. В озере отражались белые, как первый снег, цветы водокраса^[iv]. Под ними медленно проплывали маленькие линии. И где-то далеко, в цветущих лугах, добродушно заржал мерин.

[ii] Медуница — род травянистых растений из семейства бурачниковых. Многолетние травы, встречающиеся в лесах Старого Света; у нас обыкновенны *M. узколистная* (*P. angustifolia*) и *M. лекарственная* (*P. officinalis*), имеющая применение в народной медицине. Все *M.* — медоносы.

[iii] Лощина — овраг с отлогими берегами.

[iv] Водокрас — многолетнее травянистое водяное растение из семейства водокрасовых. *V.* встречается по всей Европе, Азии и Австралии. У нас обыкновенно в стоячих водах. Листья с сердцевидно-круглыми плавающими листовыми пластинками, цветки белые двудомные на длинных цветоножках; плод овальн., 6-гнездный